

Давид Самойлов

памятные записки

Сюжет заданного рассказа. Гравитирующее
первое зрение обильно воблаку чертенин.
Сопоставление кораблей и все изогнуты
~~затрагивает~~ асимметрично и воблаку.
Повороты и изгибы. На уровне титлов
вот же жемчужины. Для ленточек четкости
для этого же есть про факт изучения.
И вурда подвешены изгибы.
Один асимметрично обильно и изгибы

для тех же целей, и изгибы
вот же жемчужины. Означает
применяются вурда. А изгибы
и воблаку. Изначально

Давид Самойлов

Памятные записки (сборник)

«WebKniga»

2014

Самойлов Д. С.

Памятные записки (сборник) / Д. С. Самойлов — «WebKniga», 2014

В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в XX веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов). Состав и композиция «Памятных записок» соответствует авторскому плану; в разделе «Приложения» публикуются другие мемуарные очерки Самойлова и его заметки о литературе разных лет. О работе Самойлова-прозаика рассказывается в предисловии вдовы поэта Г. И. Медведевой. Интерпретации «Памятных записок» посвящено послесловие ординарного профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А. С. Немзера: исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году.

© Самойлов Д. С., 2014

© WebKniga, 2014

Содержание

| | |
|--|----|
| «Превращаюсь в прозу, Как вода – в лед...» | 7 |
| Наброски к предисловию | 11 |
| Часть I | 14 |
| Дом | 14 |
| Квартира | 25 |
| Сны об отце | 35 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 44 |

Давид Самойлов

Памятные записки (сборник)

- © Давид Самойлов, наследники, 2014
- © Г. И. Медведева, А. С. Немзер, составление, 2014
- © А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2014
- © Валерий Калныныш, макет и оформление, 2014
- © «Время», 2014

* * *

«Превращаюсь в прозу, Как вода – в лед...»

Проза поэта – особая область сцеплений. И путь к ней (или его отсутствие) всякий раз окрашен индивидуально.

Д. С. в разговорах о Борисе Слуцком (и с ним самим) так часто восхищался наблюдательностью, точностью и краткостью его прозаических эссе, написанных сразу после войны, так сетовал на упорное нежелание Бориса Абрамовича продолжать столь удавшийся опыт, что в конце концов выходило: не себя ли уговаривал обратиться к прозе, без боязни изменить привычному, обжитому лику стихотворца.

Где-то во второй половине 60-х годов он начал заново оглядываться на уже миновавший и взятый – и человечески, и творчески – «второй перевал». И думать и говорить о том, что «весь опыт не умещается в стихи». Что это было? Хрестоматийное «лета к суровой прозе клонят»? Да. Но не только.

Кончался «моцартианский» период жизни и творчества, ретроспективно, как воспоминание о самом себе, изображенный в стихотворении «Дуэт для скрипки и альта». Вольная, легкая, непринужденная поступь стиха и поступка еще была и длилась, но уже перестала нравиться. Не другим – себе. Неадекватность томила и предвещала «начало новых перемен». Но поскольку гармонические натуры, к которым принадлежал Д. С., не умеют долго томиться, выход был найден не то чтобы быстро, но естественно, как будто бы он всегда существовал.

Проза начала писаться стихийно, во время пребывания в больнице в 1969 году¹.

Вроде бы от скуки и досуга; на самом деле – из-за невозможности признать ограниченное обстоятельствами пространство передвижения и общения. Называлось оно словом «клетка» и означало и любую иную житейскую формулу прикрепленности, не равную внутреннему состоянию, вынужденную запертость не обязательно по медицинской надобе.

К той поре стали проступать очертания «клетки», уготованной не для одного Д. С. и куда более душной, чем спертый воздух многоместной больничной палаты. За подпись под письмом в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова он попал в проскрипционные списки. Печатные дела, и без того шедшие со скучным скрипом, свелись к нулю: был рассыпан набор «Равноденствия» и отодвинут выход «Дней». Материальное положение было яснее ясного: одни долги, без близкой возможности с ними разделаться. Весь 1968 год после прошедшего в январе судебного процесса над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым литературное начальство в трогательном единстве с ГБ выстраивало «клетку» для неразумных писателей, подставивших свое благополучие под удар. Надо было решать, как жить и действовать.

Решение Д. С. состояло из двух частей: не уходить в сам– и тамиздат, не порывать связи с читателем стихов и ждать своего часа для продолжения разговора с ним с печатных страниц. Здесь не место более подробно развивать эту тему, продлившуюся на два десятилетия вперед. Важно лишь подчеркнуть, что на едва проклюнувшуюся, еще не оперившуюся прозу выпадала двойная нагрузка: становление замысла и стилистики шло об руку с худшающими, «мутными временами» (определение Д. С.), и вся тяжесть размышлений об исторической судьбе России и русской литературы и своего поколения в ней, не могущих с полнотой и безоглядностью прорваться к читателю в поэзии, добровольно и неминуемо уходила в подводную часть айсберга – прозаические штудии.

Уже у истока проза стала способом свободного высказывания, не сдерживаемого ни внешней, ни внутренней цензурой, ни давлением индивидуальной стиховой структуры, долго

¹ Проба пера воспоминательного характера относится к началу 60-х годов. Так, в дневнике 1961 года есть запись о начале работы над эссе «День с Заболоцким». Первая прозаическая публикация – «Поколение сорокового года» – в сборнике «Сквозь время» (М., 1964).

(вплоть до «Залива») сохранявшей несущие черты герметичности, лишь частично совпадающие с общепринятым «эзоповым языком». Влияние прозы на стихи в последующие периоды – тоже особый ракурс и предмет отдельного исследования. Хочется сказать только одно: закон обратной связи действовал на протяжении более чем двадцати лет, что писалась проза, с той или иной долей регулярности.

К начальному этапу, куда мысленно возвращаюсь, можно – для краткости – применить строки из стихотворения «Болдинская осень»:

Благодаренье богу – ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине...

Пример Пушкина, бывшего во всем наиглавнейшим мерилom, как бы опрокинут на личные условия – задействованную «клетку». Эта догадка, носившаяся в воздухе, подтверждается записью в дневнике от 29.04.1968: «У Пушкина: “Лучше опала, чем презрение”»².

С 1969 года идет работа одновременно над «Книгой о рифме», стихами, переводами и прозой – предметом нашего внимания. Снова дневник: «Сейчас – время мемуаров. Наверное, это самое интересное, что пишется сейчас» (запись от 7.11.1971).

Спонтанные прозаические взрывы – публицистического, эссеистского и социально-исследовательского толка – продолжались, пока не обрели и мемуарного наклонения и не сошлись в магнитном поле единого замысла: «Укреплялся в мыслях о книге опыта» (запись от 10.04.1971). 5.11.1971 там же зафиксировано название – «Памятные записки».

Писание и дальше происходило не в последовательном, хронологическом порядке, который был намечен для построения книги (остался ее план). Важно отметить, что сначала была написана война – основополагающее событие, где становление взгляда на себя, художника и человека, шло рядом с близким познанием народа и размышлениями над российским национальным феноменом.

Привыкание к себе как к прозаику давалось трудно (порой – до отчаяния и неверия в собственные возможности). Дело, однако, подвигалось параллельно с генеральным поиском собственной манеры письма и прозаической конструкции: «Я исходил из скуки: как наскучат факты, переходил к мыслям, и наоборот.

У меня нет истинного дара прозаика изображать факты как мысли и мысли как факты. Потому и нет фактуры прозы» (запись от 13.04.1976).

Эта констатация уже частично обретенного результата точно выражает авторское понятие об устройстве собственной прозы, но сделана в один из моментов упадка духа и на конкретном фоне: читалась рукопись «Сандро из Чегема», с постоянным восхищением природным повествовательным даром Фазиля Искандера, которого Д. С. неизменно высоко ценил именно за это богом данное свойство. К себе же был строг, быть может, чересчур, считал, что божьей искрой как прозаик не отмечен и потому – чтобы достичь профессионализма, непрерывного, на его взгляд, условия появления перед читателем в любом литературном жанре, – должен корпеть над рукописью до седьмого пота. «Для прозы нужно терпение», – повторялось, как заклинание, и не только повторялось, но и выполнялось. При нетерпеливости натуры («Ждать не умею! Вмиг! Через минуту!...») и отлаженном механизме переключения с одного вида работы на другой (от стиха к переводу, от рецензии к письму), механизме, служившем регулятором настроения, можно только удивляться, как много вышло написанных и неоднократно переписанных глав.

² Здесь и далее цитируется дневник, который позже получил наименование «Поденные записи».

«Памятные записки» вынашивались и осуществлялись для передачи не одного лишь житейского или сугубо литературного опыта. Образы времен – трагических, бурных, суровых, опасных – словом, всяких, выпавших на долю («Мне выпало горе родиться в двадцатом, в проклятом году и в столетье проклятом»), – витали буквально над каждой главой и над каждой страницей. Ранний и прошедший через всю жизнь вкус к истории предопределил и чисто исследовательскую окраску медитативных периодов, от которых сам автор получал несравненно большее удовольствие, нежели от собственно мемуарных пассажей. Вольное воспарение от «фактов» к «мыслям» и их прихотливое чередование похоже на качели, с обязательным возвращением на грешную землю. Ритмическая организация прозы, сложившаяся «на слух», по принципу музыкального произведения, выдает-таки поэта, как ни снижал он «скукой» и отсутствием «истинного дара прозаика» цену своего многолетнего труда. И как ни пытался отделить основное призвание от добровольно взваленной на себя огромной по объему и заданию работы.

Кстати, вся проза располагается между двумя домами: в Опалихе (1966–1974 гг.) и в Пярну (1976–1990 гг.). Видимо, бытовая обстановка, никогда не безразличная для художника, тоже внесла свою лепту в созидание прозаической книги. Жизнь в доме и жизнь в городской квартире – разные вещи, особенно в наше время. Дом располагает к размеренности дня и к неспешным, долговременным планам и замыслам. Дом – ближе к природе, то есть к изначальной основе жизни. Дом – да что там! Дом есть дом. Он заставляет художника посмотреть на себя другими, быть может, толстовскими глазами, не в смысле масштаба, а в смысле устройства писательского труда, такого же извечного, как земля на усадебном участке, и столь же ритмически сложенного, что и погодные и садово-огородные циклы.

Постепенно дом стал восприниматься как убежище – и внешнее, и внутреннее. Что здесь имелось в виду? Всегдашняя далекость от прямого участия в политике (при проживаемости сердцем и умом идейных брожений). Нежелание обслуживать пером сиюминутное состояние общества и участвовать в кампаниях. Неприязнь к поводку, кем бы он ни был навязан – добродетельными читателями или ревнителями злобы дня. Уверенность в том, что главное дело художника – творить. Потребность в сбережении душевных усилий для этого главного дела.

Интересно, как разделялись функции прозаического и поэтического материала. Те же самые процессы, которые пристально рассматривались и подвергались анализу в прозе, могли быть лишь декларированы в стихах:

В шестидесятые годы
я понимал шестидесятые годы
и теперь понимаю,
что происходит
и что произойдет
из того, что происходит.
И знаю, что будет со мной,
когда придет не мое время.
И не страшусь.

Это, конечно, не единственный пример взаимообращения тем и вариаций, однако характерный для тех лет, когда стихи все же печатались и в них действовала система штриха и намек, не чуждая вообще манера Д. С. говорить с читателем: он не часто, вне зависимости от возможности быть услышанным, стремился выложить все карты на стол и обнажить в результате способ создания стиха. Другое дело проза: здесь автор как бы берет реванш за добровольную сдержанность поэтической строки, за ее глубоко упрятанный, прикрытый многими смысловыми слоями посыл. Здесь рассказ о себе сопрягается с собеседником, втянутым в развертывание сюжета уже тем, что предугадываются его реакции и сами они становятся

вехами дальнейшего движения. Здесь нарушается собственный завет: «Не смей, не смей из глубины доставать все то, что там скопилось и окрепло!». И кладовая памяти – золотого запаса любого художника – раскрывается достаточно щедрой, хотя по-прежнему знающей меру рукой. И если опускаются какие-то звенья, то все из-за того же целомудренного отношения к искусству (и собственному в том числе), из-за прочного чувства – убеждения, что последняя (она же и первая) тайна творения должна храниться в душе художника и больше нигде. Но если сознательно ставятся препоны комфортному, как у себя дома, расположению читателя в творческой мастерской, то в подспудном течении, на уровне композиции, индивидуальный процесс складывания образа проявляется полнее, естественнее, невольнее, ибо тут он не подвластен самоконтролю и самоодергиванию. Расхождение и слияние тематических нитей, их обрывы, за которыми угадывается пространство, оставшееся «за кадром» и своим гулом подменяющее несказанное слово, музыкальный звук вечности, аккомпанирующий «бренному» рассказу, и, наконец, публицистический пафос, врывающийся в повествование как знак прорастания миновавших времен в день текущий и длящийся и оттого еще не имеющий формы, – вот, в самом первом приближении, направляющие стрелки для вхождения в атмосферу прозы Д. С.

Книга росла вширь и вглубь так же стихийно, как началась, уже при видимой последовательности ее построения. Наряду с биографическими в ней возникали главы-портреты (писателей и друзей) и главы-очерки того или другого времени, а также эссе на отдельные темы. Образцом, с постоянной поправкой на недостижимость, служили «Былое и думы»³.

Теперь я думаю, что «Памятные записки» ощущались и мыслились как бесконечная река жизни с бесконечным же охватом событий, лиц и струящейся, неиссякаемой мыслью. Точку поставила смерть.

Главное он все же успел: сказать о времени и о себе и предначертать направление нашего чтения. И вряд ли стал бы переписывать разбросанные по годам тексты, чтобы показаться смекалистее, проворнее и современнее: ведь процесс постижения, окаймленный реалиями и подробностями, а то и прямо вырастающий из них, – не имеет ли он самостоятельного значения? Иначе зачем бы столь явно, в прямом обращении к читателю, в набросках к предисловию упоминалось не только об отсутствии учения, но и о свободе говорения, о героях мысли и обновления. А в конце главы «Дом» – о необходимости воссоздания собственного «я»: «Но для себя я так определяю смысл этой книги: главная мысль моя, главная цель – воссоздание собственного “я”, исследование его опыта и через опыт возвращение к самому себе. Воссоздать собственное “я” и взглянуть на него со стороны. Задача эта не полностью ясна и для меня самого и сформулирована, может быть, очень приблизительно. Точнее – ясно направление, но я не могу предвидеть результата, как нельзя предвидеть, к чему приведет исследование, ибо если результат его заранее ясен, то само исследование не нужно».

Г. Медведева

³ Впервые на устремленность автора в этом направлении обратила внимание Л. К. Чуковская. См. запись в дневнике: «Прошлый понедельник с Толей (А. А. Яковсоном. – Г. М.) у Л. К. и у Бабенышевой в Переделкине. Проза. Л. К. – проза поэта. Жанр – “Былое и думы”» (8.09.1971).

Наброски к предисловию (О свободе)

I

Приступая к писанию, заранее могу себе признаться в том, что не могу изложить нечто положительное и стройное – политическую концепцию или систему нравственной философии.

Ни того, ни другого я не изобрел, да и рано, видимо, изобретать.

Хотим мы все одного – свободы. Но толком еще не знаем, что такое свобода и как ее к себе и другим прилагать. Потребность свободы у нас есть лишь в воображении, всегдашнем русском воспаряющем воображении, а образцов мы не знаем и ищем их либо глядя назад, либо кося вбок. А по спине у нас все тот же российский холодок – не стоит ли там мужичок с топориком, который тоже по-русски жаждет свободы, но вбок не косит.

Мужичка уже, впрочем, нет. Но холодок все тот же. За спиной стоит некто похуже – молодой, без царя и без бога, длинноволосый, с папироской, хмельной и озлобленный, с гитарой, битник-разбитник, настоенный на «Московской особой», всероссийский жесткоротый дружинник, шаманщик, дом-культурник, танцплощадник, матерщинник, руковерт, футбольщик, хоккейщик, киноплюй, стенописец, будкогадец, на-троишник, на-двоишник, на-одногошник. Стоит не мужик – порождение земли и истории, а наш с вами отпрыск, наше собственное порождение.

Он тоже свободы жаждет. Или власти. Ему все равно.

Какой же свободы мы хотим? И какая нам нужна?

Для России американизм не годится. Мафия вместо партии, и вороватость вместо бизнеса. Еще при нашей бедности. Беснаказанно убивать президента – это еще не достижение.

Когда нет ни политической концепции, ни нравственного уклада, есть одна свобода, необходимая России, – свобода выговориться. Выговориться, отматериться, откричаться, отспориться, отречься.

Только после этого образуется нечто. Привыкшие к молчанию недостойны свободы.

Единственная цель моего писания – выговориться. Свободны говорящие. Ведь речь – это практика мысли.

Учить нам рано. Надо учиться речи.

Выговорила Россия, пожалуй, дважды. Где-то в 1905-м, вокруг манифеста, и еще в 1917-м, с февраля до октября.

Потом ждала, когда же можно будет высказаться. Право это было как бы завоевано кровью: «Сестры и братья, друзья мои!». И идеалист Пастернак, и циник, продувной, продавшийся барин, прожженный, ни во что не верящий Алексей Толстой поверили: можно будет сказать, высказаться, выразиться, выговориться.

Вот что писал Толстой:

«Народ, вернувшийся с войны, ничего не будет бояться... Китайская стена довоенной России рухнет».

Китайская не рухнула. И русская стоит. Может, пока стоит китайская – стоять и русской.

И не прав был продувной барин. Народ на войне не боялся. А потом опять забоялся.

Стена, конечно, все же рухнула, но недорушилась. Проломы в ней образовались в 1953 году.

И хлынула в эти проломы безудержная речь. Чья? Народа?

Нет. На первых порах выговаривались мы устами веселого, осмелевшего Никиты Сергеевича. Не народ, а он первый осуществил безудержную потребность неконтролируемой речи. Надо ему отдать справедливость – он первый заговорил. И вправду, это была первая свобода – свобода выговориться. Он заговорил. А мы продолжили. Он не разумел. А мы уразумели. И уже не унять нашей речи. И не замолкнем, пока не скажем. Уже такое наболтано, наговорено, на сказано, наплетено, наоткровенничано, что так запросто не расхлебать.

II

Так писал я совсем недавно в предисловии к «Памятным запискам». Но иное время быстро настало, и уже иное желание подвигает меня к писанию.

Высказаться и отругаться – уже высказано и отругано. Теперь уже важно, о чем говорится и кто говорит и как.

Уже не объединяемся мы в ругательстве и в отречении, в неприятии предыдущей жизни, а разделяемся в предвидении, в расчислении будущей нашей жизни. Мы не живем уже прошлым, не живем настоящим, а жадно тянемся к будущему, ибо утонуть может Россия в скуке настоящего.

Недавно в том была суть, что мы заговорили. Но заговорил и отговорил незабвенный Никита Сергеевич, мало кровей пустивший диктатор, мир праху его; Пугачев из Центрального Комитета.

Он спрашивал нас с пугачевщиной. Пугачевщине уже в России не быть. Не поверим мы уже самозванцам, не поверим власти, пошедшей на власть.

Власти нашей долго еще стоять. И говорению нашему, может быть, придет свой срок. Ну и что же? Раскрылся уже, распустился уже клубочек, спустился уже со стола, и кто захочет его распутать, не запутался бы сам.

Ведь уже не в говорении дело.

Глотку смогут заткнуть нам свинцом, плеткой или голодом. И тогда вновь замолчит Россия.

Одного только не будет. Никто не поверит, что говорящий – враг.

Это и есть самое главное.

У нас всегда – противник власти и несправедливости был враг. У нас всегда жертва власти – был враг.

Врагом нас пугали и в 19-м, и в 20-м, и в 30-м, и в 37-м, и в 48-м, и в 52-м.

Все были – ВРАГ: эсеры, меньшевики, офицеры, дворяне, священники, справные крестьяне, партийцы, коминтерновцы, финны, немцы, татары, балкарцы, космополиты, евреи.

Герои были те, кто боролся с врагом. С любым врагом – с отцом, с братом. Павлик Морозов, отцеппродавец, был герой.

Это были герои существующей власти, борцы за нее против власти несуществующей.

Сейчас другое дело. Сейчас не обманешь. Сейчас, глотки заткнув, одного лишь добьются: создадут героев и мучеников.

В молчании этих героев и мучеников больше опасности для власти, чем в любом говорении.

20 миллионов «врагов» не перевернули Россию. Сто тысяч героев и мучеников перевернут.

Их-то и надо бояться власти. Не слова, а молчания из «глубины сибирских руд».

Не хочу сказать, что у нашей власти не было героев. Были.

Были в гражданскую войну, когда эта власть воевала с другой. Были и в эту войну, когда за свою власть воевали с чужой, чуждой и худшей.

Но ведь и они воевали с властью. Нет героев финской войны, польского похода, венгерской резни, чешского преступления. Нет и не будет.

Герои и мученики – против власти, а не за власть. Потому и святы декабристы, что, встав против власти, не умели, да и не хотели взять власть. Так же святы и народовольцы.

Шпионы, тайные агенты и милиционеры-продотрядовцы, каратели и раскулачники никогда не станут героями нации.

Герои мысли и обновления – вот кто нужен России, вот кто и будет ее цветом и гордостью в неблизком, может быть, грядущем.

Часть I

Дом

Я явился на свет в родильном заведении доктора Фези, где-то на одной из Мещанских, 1 июня 1920 года по новому стилю.

– Ну и что? – спросит читатель. И, действительно, из нескольких фактов, отмеченных в первой фразе, какое-то значение имеет лишь тот, что я родился.

Но я издавна мечтал именно так начать эту книгу и, сколько ни думал, ничего лучшего придумать не мог. Хотя сам всегда считал, что важна суть, а не подробности.

Однако, стремясь к сути, мы всегда вынуждены пробиваться сквозь толпу подробностей. И почему-то, минуя подробности, вдруг чувствуем, что суть неуловима и как бы утрачена.

И уж лучше заблудиться в густом лесу деталей, где, аукаясь, услышишь хоть собственное эхо, чем в голой огромной степи, где нет ни единой приметы, ни вехи, где суть одна лишь пустота и огромность.

Если вынести из жизни детали, как мебель из помещения, останется одна кубатура. Ибо какие-то детали всегда имеют отношение к главному. А какие именно – мы не знаем.

Моя мама так часто повторяла, что я родился в заведении доктора Фези, что этот мало-важный факт стал для меня чем-то вроде отправной точки самоуважения. Дескать, рожден я не кое-как, не спустя рукава, а под руководством доктора Фези, почтенного пожилого человека, моложавого ввиду всегдашней подтянутости, с маленькими холеными руками и с черной, хорошо подстриженной бородкой, представлявшего мне почему-то еще в феске и похожим на турка. Может быть, потому, что первым моим детским врачом был доктор Тюрк. И эти две фигуры смешались в моем воображении.

Теперь уже с некоторым облегчением можно написать, что первые беспамятные месяцы я провел на Старой Божедомке (ныне улица Дурова) в квартире Надежды Николаевны Кокушкиной.

О Надежде Николаевне я так часто слышал, в детстве бывал у нее в гостях и потом встречался с ней уже после войны, что хорошо представляю себе быт божедомской квартиры в голодном и холодном 20-м году.

Дочь горничной в дворянско-профессорском доме, Надежда Николаевна, благодаря своей необычайной красоте и замечательным способностям, была взята хозяевами на воспитание, а потом вышла замуж за их сына, впоследствии медицинского профессора Кокушкина. После революции профессор подался в эмиграцию, по неизвестным мне причинам оставив в Москве молодую и очаровательную жену.

Известно только, что Надежда Николаевна нисколько не пала духом. Женщина общительная, живая, с неистощимым даром рассказчицы и жаждой общения, она устроила у себя нечто вроде литературного салона. В большой кухне вокруг буржуйки собирались по вечерам попить морковного чаю писатели и генералы, принятые на службу в Артиллерийское управление Красной Армии. Генералы эти были вскоре расстреляны, кажется, во время Кронштадтского мятежа, то ли за измену, то ли за верность прежним убеждениям, а скорей всего – так, на всякий случай.

Салон Надежды Николаевны, однако, не был разгромлен. Ей даже удалось спасти от неминуемой кары Петра Ширяева, писателя, примыкавшего в ту пору к левым эсерам. Не последнюю роль в этом спасении сыграли энергия, ум и обаяние Надежды Николаевны.

Ширяев стал ее мужем⁴.

Близким приятелем Кокушкиной был Новиков-Прибой, его уважительно именовали «Силыч». Приходили Брюсов и Аделина Адалис.

Адалис гляделась в зеркало в передней и удовлетворенно спрашивала:

– Правда, я похожа на лошадь или на старого еврея?

Ей было двадцать лет.

А с Брюсовым связана маленькая легенда, будто он однажды взял меня на руки, а я испортил брюки знаменитого мэтра.

Этот факт послужил причиной тому, что я лет до пятнадцати почитал себя учеником Брюсова, а его чуть ли не моим воспитанником.

Стихотворение «Юному поэту» я полагал обращенным именно к себе и наивно отвечал:

Ты мне, учитель, даешь три совета,
Первый приму, а с двумя не согласен.

В моих отношениях с Брюсовым, правда, односторонних, были все перипетии общения ученика с учителем, включая восхищение, спор и неблагодарность.

Часто бывал у Надежды Николаевны, а порой и жилал в нашей квартире поэт Иван Рукавишников. О нем слышал я, что, пьяный, укладываясь спать на полу, всегда просил себе под голову подложить Данте, чтобы снились высокие сны.

Рукавишникова я, конечно, не помню. Едва запомнил Вассу, библиотекарьшу, воспитанницу Надежды Николаевны, – скорее всего за безобразную внешность. А уж дочь ее, то ли от Рукавишникова, то ли еще от кого, и вовсе никогда не видел. Но и с ней у меня связано нечто, о чем сейчас расскажу. Ведь все, что завязывается в детстве, неминуемо имеет свое продолжение. И чего бы я ни коснулся, все длится во мне или возвращается ко мне.

Вот эта история. Я узнал ее осенью сорок первого года.

У девушки был жених. Они расписались накануне его ухода в армию. Первую брачную ночь решили провести за городом, на даче. Ночью немецкий бомбовоз, не пробившийся в Москву, сбросил свой взрывчатый груз куда попало. Бомба угодила вблизи беседки, где находились новобрачные. Оба они погибли. Жестокость войны к любви поразила меня в этой простой истории. Долго каким-то томящим грузом лежала она в памяти, пока не стала стихотворением «Солдат и Марта».

На Божедомке прожил я менее года и своим считаю дом на Александровской площади, угол Бахметьевской (теперь – площадь Борьбы, 15/1).

Дом на Александровской площади угловым своим построением напоминал океанский корабль, носом врезавшийся в шумящий деревьями сад Туберкулезного института. Он как бы плыл по зеленым или желтым колеблющимся волнам листвы, по волнообразным кронам старинного сада, возвышаясь над самыми высокими деревьями.

Из окон шестого этажа я с младенчества видел только зелень садов, курчаво уходящих к Екатерининской, к Самотеке. И вдали маяк Сухаревой башни, а слева, если немного высунуться из окна, – две похожие на красные ладьи водонапорные башни у Крестовской заставы.

Туда, к Сухаревой, плыл наш дом в морском гуле листвы. Этот гул, этот шум был постоянным звуком в тишине нашей квартиры, и в осенние ночи я и впрямь представлял себе морское плавание.

А на закате бесчисленные стаи галок поднимались с гнезд в окрестных садах и кружились с криком на фоне багряного неба. От этого кружения бывало грустно и тревожно осенью

⁴ Петр Алексеевич Ширяев незаслуженно забыт. Он автор прекрасной повести «Внук Тальони».

и почему-то весело весной. А зимой я галок не помню – только их растрепанные гнезда на голых деревьях.

Из кухонного окна тоже виделся сад – запущенный и превращенный в свалку – сад баронессы Корф, бывшей владелицы нашего дома. В том саду – ветхий барский особнячок, полуразрушенный флигель; а дальше – за садом – еще не потерявшие позолоту купола Тихвинской церкви, превращенной потом в москательную лавку, и там – за деревьями и крышами – купола окраинных церквей, прикладбищенских и отдаленных.

Под Пасху отворялись для мытья окна, и из воздуха, из розовато-желтой зари вместе с весенним запахом вступал колокольный звон. Праздничное, необычайное настроение, чувство живого соприкосновения с родным городом приходило тогда – неповторимое ощущение старой, милой, ушедшей Москвы.

Сад баронессы Корф был местом с дурной репутацией, и туда заглядывать было строжайше запрещено. Однако, поборов страх, я изредка пробирался до дальнего забора, до дыры, выходившей на полустроенную Ново-Сушевскую.

Дом был моим миром, потому что все связи мои и все детские впечатления не выходили за его рамки. Дом был миром, имевшим свои очертания и границы. И как бы противоположностью ему было неосознанное понятие пространства. Пространство было то, что начинается за забором и простирается неизвестно докуда. И дыра – была дырой в пространство и открывалась в никуда. Пробравшись сквозь лопухи, крапиву и битый кирпич, я застывал перед началом беспредельности, опасаясь переступить ее рубеж.

Я только вглядывался в пустыри и в ветхие строения едва видных отсюда кварталов. И вслушивался в долетавшие от Савеловской железной дороги хриплые свистки маневровых паровозов – звуковой знак пространства, до сегодня впечатляющий, манящий и навевающий особую тоску.

Я назвал наш дом кораблем. Он скорее был ковчегом, поспешно населенным в годы потопа сотнями чистых и нечистых пар. Здесь, в величайшей тесноте, перемешивались в виде некой эмульсии все слои и сословия России полустолетней давности – провинция, деревня, Москва, Петроград.

В бывшие буржуазные квартиры набивались со страшной плотностью, утесняя или вытесняя прежних жильцов, буйные ватаги новых постояльцев – демобилизованные красноармейцы, пришлый, перекатный люд, сбежавшая от голода и поборов деревня, няни и санитары Туберкулезного института, бывшие дворники, швейцары и кухарки, милиционеры, чекисты, рабочие, ремесленники и всякий прочий... народ. Все это плодилось, множилось, утрамбовывалось, поселяло родственников, разгоразивалось фанерными стенками и занавесками. И выпирало, выпадало из стен дома на улицу, во двор, в сквер. Здесь невозможна была тайная жизнь семьи. Здесь все было на виду. И оттого в возбуждении, в вечном скандале и шуме.

Никто еще не написал историю коммунальных квартир, их трагического влияния на психику и психологию, их социальных контекстов. Коммунальная квартира 20-х годов была необычным полем страстей, часто низменных, ареной трагедий, почвой для развращения и преступления.

Каждое время порождает свои формы быта. И не только время – каждая социальная среда. Эпоха разлома, нестроения и перемешивания породила свою неповторимую форму быта – коммунальную квартиру. В ту пору, когда все ломалось и еще не начало строиться, естественно, приходилось пользоваться подручным материалом, уцелевшим от прежнего времени. Насилие, которое было главным методом революции, сказалось и здесь в насильственном создании коллектива.

В каких только видах не предстает в России пугачевщина! Деревенский и пригородный элемент привнес в новую форму быта нравы деревенской улицы, какого-то странного празд-

ника темной воли. Коммунальная квартира была и праздником крушения сословных перегородок. Она была присуща времени, а не одной социальной среде.

Лишь на следующем этапе, после нэпа, она начала образовываться в среду. И если первый период истории коммунальных квартир можно назвать стихийным, то второй я назвал бы демократическим. Бедность и аскетизм начала 30-х годов отразились в психологии целого поколения, к которому принадлежу и я. В нем есть понятие о неминувности совместной жизни, о взаимопомощи, о сложности и разнообразии семейного устройства, о независимости от вещей, столь редких в то время, о приспособляемости и контактности, много помогавших нам на войне. Дети коммунальных квартир – одно из названий нашего поколения.

С конца 30-х годов, с выделением среды власти и интеллектуальной элиты, коммунальная квартира как форма быта начинает медленно распадаться. Из нее постепенно выезжают государственные чиновники, писатели, ученые, артисты.

Складывается новое время и с ним новый тип поселения – раздельный.

Но я далеко забежал вперед. И вновь возвращаюсь к своему ковчегу, которому долго еще ждать голубя с веткою оливы.

В нашем доме пятьдесят квартир. Я пытаюсь подсчитать его население. В пятидесятой – двадцать человек в четырех комнатах. В сорок шестой – девятеро. В тридцать шестой – пятнадцать. В восемнадцатой – десять. Средняя цифра, наверное, более десяти, человек двенадцать. Значит – человек шестьсот, а то и все семьсот. Да ведь это целое село! С церковью и с приходским училищем, с лабазами и торговыми заведениями, с трактиром и заезжим двором!

Да и протянулось бы это село в иных привольных местах версты на две, вдоль реки или тракта. А села и вполтину меньшего на всю жизнь хватило бы описывать современному прозаику – и работы, и беды, и свадьбы, и похороны, и вражду, и любовь, и коллективизацию, и войну, и детство, и старость.

Мне бы, может, правда, оттого, что я не современный прозаик, нашего дома и на одну повесть не хватило. И скорей потому, что жизнь его совсем не похожа на бытие деревни. У нас все на виду, а там все на миру. А на виду – не то что на миру. На виду пропадает тайная жизнь души, и человек предстает лишь в его видимости, во внешнем столкновении с другими, в дурных страстях, в раздражении от скученности и неудовлетворенности, от отсутствия традиции жизни, от вечного соблазна большого неутраченного города. А предмет литературы – жизнь души, то есть жизнь нравственного сознания, утекающего из рук писателя в коммунальной неразберихе. Мир же душу по-своему, пусть порой и жестоко, но строит. Он – недреманное око веками добытой правды и житейского опыта.

Полувековая нравственная неустроенность города – причина того, что наша литература не создала истории городского народа. Были писатели «городские» – Замятин, Булгаков, Олеша. Но они вычленили своих героев из общей массы. Они рассматривали не процесс, а вычленение из процесса, отстранение, потому что исходили из другого нравственного состояния, «внешнего» по отношению к городскому народу. Высшим образцом литературы того времени была лирика (Ахматова, Пастернак, Ходасевич, Заболоцкий) именно потому, что лирика держится на вычленении из ряда. Процесс может изобразить только проза. Видимо, перед прозой стояла задача, для нее непосильная, нетрадиционная, не имевшая корней в русской классике. И если нравственной устроенности не было, то все же была жизнь души, пусть глубоко искаленная временем и обстоятельствами, была жажда этой жизни. И один только Платонов почувствовал и отразил эту жажду⁵.

В начале 20-х годов в город вступила пугачевщина и отпраздновала свою победу грабежом. Клеймо грабежа лежит на целом поколении. Здесь не место говорить о том, что народ, ограбленный социальной системой, ответил грабежом без системы. Речь идет лишь о мораль-

⁵ И Зощенко! Из «той» среды. Не дворяне. Литературе нужен не предмет, а самопредмет.

ных последствиях грабежа. Нравственно неустроенный город, приобщенный к «экспроприации экспроприаторов», потерял нормальные моральные понятия и допустил террор 20-х годов, уничтожение церкви и культурных ценностей, собственных национальных традиций, допустил дикие формы коллективизации и 37-й год.

За все это ответственность несет и «духовная элита», принявшая нравственную концепцию «сверху». Она попыталась создать некий нравственный кодекс, основанный на понятии долга внешнего, а не внутреннего, жертвы внутренней цели ради внешней. А такой кодекс не мог быть и не был нравственным законом.

В России стремительно, несколькими волнами, происходила урбанизация.

Стихийное нашествие на город донэповского времени. Исход времен коллективизации. Послевоенная тотальная урбанизация. Каждая из этих волн отдаляла нравственное утрясение города, создание климата, где может произойти литература. Ибо каждая из волн приходила из деревни и провинции с разрушенным традиционным укладом психологии и с еще не сложившимся новым. Тоска по нравственности – один из главных движителей современной «деревенской» прозы, создаваемой людьми городскими, но еще сохранившими воспоминание о существовании нравственного уклада⁶. Черта этой прозы – нравственная ретроспекция. Поэтому, являясь по способу изображения прозой реалистической, это проза романтическая по существу.

Один из немногих писателей, пытающийся исследовать физиологию городского народа, – Трифонов. Его попытки, во многом несовершенные, все же плодотворны и своевременны. Об этом свидетельствует успех Трифонова среди читающей публики. Трифонов своими скромными средствами пытается продолжить линию Платонова, как это ни покажется парадоксально.

Чувствуя и понимая сказанное выше, я, конечно, не берусь внести свой особый вклад в описание истории городского народа.

И намерен лишь изобразить несколько лиц из того небольшого мира, в котором жил в детстве.

Напротив нас, в пятидесятой квартире, в комнате за ванной, живет сапожник Павел. Это красивый, курчавый человек, пропойца тихого нрава. Напившись, стучится к нам, вызывает отца и голосом хриловатым и надломленным говорит: «Эх, доктор!». Машет рукой и уходит. У Павла маленькая, востроносая, вечно беременная жена Дарья. Жизнь сделала ее вороватой и хитрой. Работать она не любит. Вечно торчит на сквере и пасет последовательно: тихую, в отца, Маньку, мою ровесницу, потом Кольку, будущего вора, Тольку, будущего сапожника и буйного пьяницу, и красивую Лидку, ставшую парикмахершей и предметом домовых сплетен, а потом – с годами – Людку, Володьку и Мишку, а потом еще чрез годы – своих приبلудных внуков. Так и просидела на сквере Дарья с полвека и никогда не спешила домой, в пятидесятую квартиру, где запах кухни, грязной постели и чиненого сапога, где пьяный Павел, а по смерти Павла – еще хуже – никого.

Таких жильцов, как Павел и Дарья, много в нашем доме. И сюжеты из их жизни просты и так часто повторяются, что даже кажутся мне в детстве естественными: пьянство, буйство, воровство, болезни и частые смерти.

Из этих семей формировались городские низы 30—40-х годов и росли будущие прибалтанные солдаты Великой войны, те ребята, которым черт не брат, которые потом вдоволь натешили душу в Пруссии и Померании, кому-то мстя за голодное и темное детство.

Есть в доме люди, которых все побаиваются, с которыми все здороваются, а «приличные» жители стараются обойти стороной. Это Помидор, бандит. Помидор – молодой, но весь какой-то помятый, неприбранный, краснорожий, опухший. Он нагл, задирист, любит издеваться над

⁶ Тоска по «миру».

слабыми. Когда он сидит в сквере, его всегда окружает толпа малолетних поклонников, которых он потом посылает «на дело», и они попадают, их судят, посылают в лагеря. А Помидор, посмеиваясь, сидит на сквере, уверенный в своей силе и власти. И в том, что его никто не выдаст. А выдаст – Помидор везде достанет, хоть под землей.

Другой – Володька Станкутин, вор. Володька – аристократ. Он изысканно вежлив и немногословен. Всегда элегантно и чисто одет. В его тонком лице есть оттенок мечтательности. Он нервен, как породистая лошадь. Иногда вдруг лицо его каменеет, зеленоватые глаза становятся узкими и в них двумя лезвиями промелькивает жестокость. Становится страшно и неудобно. Но это на мгновение. В лице его вновь сдержанная доброжелательность аристократа. Он вежливо здоровается с жильцами, которые торопливо и заискивающе с ним раскланиваются и спешат пробежать мимо. На сквере Володька не сидит. Он полдня стоит у подъезда, видимо, забавляясь впечатлением, которое производит на всех.

Со мной он дружелюбен, и я не смею отказать от беседы с ним. Он обычно спрашивает, читал ли я такую-то книгу. И советует:

– Прочти.

Однажды он приходит к отцу по медицинскому делу. На самом деле изучает расположение вещей в нашей квартире. И этим же летом по узкому карнизу шестого этажа через открытое окно залезает к нам и уносит одежду и столовое серебро.

Операцию эту замечает старший дворник Федор Абрамыч. Он отбирает украденное, и мать Станкутина, чахоточная сестра Туберкулезного института и сообщница сына, приходит к моему отцу с просьбой не доводить дело до милиции. Происходит соглашение сторон, после чего Станкутин как бы удваивает интерес ко мне. Как-то достает из кармана выпуски «Пещеры Лихтвейса» и говорит:

– Прочти.

Упомянутый Федор Абрамыч, старик малого роста, узкоплечий, с длинным туловищем и несоответственно короткими ногами, всегда, даже, кажется, летом обутыми в огромные валенки. Глаза старшего дворника, слезящиеся, мутновато-голубого цвета, со множеством красных жилок на белках, таят в себе мудрость и спокойствие. Старик никого не боится, а его побаивается и уважает даже самая буйная часть населения нашего дома. По каким таким связям – непонятно. Утром, одетый в дворничий фартук, Абрамыч, кряхтя и с трудом поворачивая и наклоня подагрическое тело, подметает тротуар и мостовую и громко ворчит:

– Голытьба!

Уважает он прежних жильцов, сохранившихся небольшими вкраплениями в коммунальном перенаселении дома.

Этих жильцов не так много, но я знаю ближе их и их детей, потому что они общаются с моими родителями.

Ниже нас на этаж живет важный, хорошо откормленный инженер Коган-Шелестян, родом из Румынии. О нем уважительно говорят, что он представитель австрийской фирмы электроприборов «Ратау». Счетчик этой фирмы, висящий в передней, кажется мне представителем Когана-Шелестяна. У инженера – красавица жена Вера Николаевна и двое детей – Саша и Фрида. В начале 20-х годов они уезжают в Румынию. А в квартире ответственным съемщиком остается старуха Анна Прокофьевна, женщина волевая, из простых, которая вскоре поселяет в инженерской квартире кучу деревенской родни. А еще, в порядке уплотнения, въезжают две пожилые сестры из бывшего духовного звания и служащий речного ведомства рыжий Прейс.

Сестры, как потом оказывается, родные тетки замечательного писателя и переводчика Николая Любимова. И сам Николай Михайлович в студенчестве живет у своих теток. Мы с ним приобретаем несколько страниц общих воспоминаний.

С ним вместе вспомнили мы легенду о конце инженера Когана-Шелестяна. Эта и подобные истории развивались на протяжении времени, и теперь я не могу точно вспомнить, что

было моим собственным детским впечатлением, а что узнано из разговоров взрослых и измыслено потом. Многие сюжеты начинались, во всяком случае, в самом раннем моем возрасте и заканчивались много лет спустя.

Дело происходило во время войны. Будто бы инженер был очень богат, сына женил, а дочь выдал замуж за состоятельных людей, а в войну, чтобы не конфисковали у него, как у еврея, имущество, все отписал детям. Говорила Анна Прокофьевна, что после этого сын, носивший уже румынскую фамилию Шелестяну, от отца отказался, зять тоже прибрал его деньги, но компрометирующие родственные отношения прервал. И обедневший инженер Коган с протянутой рукой стоял у подъезда оперы в дни великосветских премьер, наблюдая шикарный выезд своих детей.

Было так или не было? Но это один из многочисленных бродячих сюжетов нашего дома.

Напротив важного инженера жили два брата – Шура и Юлик Биргеры. Они тоже отбыли за границу, кажется в Бельгию. Комнаты же их заняли два семейства. Большую – грузчик Мухин, человек огромной физической силы и, непонятно почему, злобный ненавистник советской власти. Жил он с женой, дородной и красивой Валентиной, бывшей кухаркой Биргеров, с пасынком и сыном Толькой.

А в комнату поменьше въехала отвратительно толстая и уродливая, как клубень, гуляющая баба с дочерью Манькой, придурковатой проституткой.

После отъезда Когана и Биргеров из старых жильцов в нашем подъезде самой заметной фигурой остался доктор Игорь Игоревич Вокач. Своей таинственной и замкнутой жизнью он вызывал любопытство и почтение. На всех дверях и стенах подъезда обильно были нацарапаны или изображены мелом неприличные слова и рисунки. На двери же Игоря Игоревича неизменно красовалась надпись: «Здесь живет известный врач Игорь Игорич Вокач».

Вокач служить в советских учреждениях отказался. Он имел вывеску и частную практику. Врач он был превосходный. Его вызывали к нам только при самых опасных заболеваниях, потому что, как медик у медика, гонорар брать он отказывался. Впрочем, тогда это правило было повсеместно распространено и, надо сказать, порой затрудняло приглашение хорошего специалиста к больному из врачебной семьи. Какой-нибудь почтенный старец, профессор неукоснительно приезжал по вызову любого своего коллеги и бесплатно лечил его самого, его чад и домочадцев.

Игорь Игоревич казался мне в детстве нелюдимым, сердитым стариком, хотя лет ему было не более пятидесяти. Неразговорчивость же Вокача, возможно, объяснялась тем, что он был наследственный заика. В мужском колене этой фамилии передавалось из поколения в поколение имя Игорь и заикание. В домашнем общении, говорят, Игорь Игоревич был любезен, весел и общителен. У меня не было случая это наблюдать.

Внешность Игоря Игоревича была замечательная, хотя шаркающая походка, палка и некоторая сутуловатость фигуры придавали ему старообразность. Контрастом старческому силуэту были огненные, огромные черные глаза, красивый молодой рот, обрамленный чернейшей без седины бородкой. В нем явствен был южнославянский элемент и скрыт адриатический темперамент.

Несмотря на внешнюю необщительность и недоступность, Вокач, видимо, был человек страстей. И общественное мнение никак не могло сопрячь его респектабельный образ с тем, что Вокач был несколько раз женат и породил от разных женщин детей, законных и полужаконных.

В квартире Вокача жил его старший сын Андрей Игоревич, школьный учитель математики, человек молчаливый, интеллигентный и тоже необщительный, но какой-то иной необщительностью – не принципиальной и как бы социальной, а вялой, отрешенной, идущей от натуры, где угадывалось скрытое страдание и неприятие жизни.

Темперамент деда передался внуку Вокача – огненно-рыжему, веснушчатому и веселому Сашке. Он стал актером, долго играл в провинции, а теперь артист «Современника».

Старый Вокач внушал разноперым и не склонным к благоговению обитателям дома неизменное чувство почтения. Его квартира была наглухо замкнута даже от официальной сексотки Марии Ивановны, державшей в страхе весь наш подъезд. Это была хрупкая пожилая женщина с острыми мышиными глазками, с лицом строгим, всегда недовольным и таинственным. Когда кто-либо поднимался по лестнице, Мария Ивановна приоткрывала дверь, откровенно оглядывала идущего и начинала копаться в почтовом ящике. Она словно жила у себя в передней, постоянно прислушиваясь к звукам подъезда. Знала она все. Заглядывала в квартиры. И никто не смел ее ослушаться, если она встревала в квартирные распри, никто не смел ее выгнать либо захлопнуть перед нею дверь. Во время ссор жильцы часто грозили друг другу:

– Позову Марию Ивановну, – как детям грозят: позову волка.

Никто не знает, какие сломанные судьбы лежат на совести этой женщины, державшей в страхе наш дом несколько десятилетий. Она была символом тайной власти; между тем, сын ее, великовозрастный Шурка, писал на стенах подъезда и в лифте: «Бей жидов, спасай Россию!» и рисовал фашистский знак.

Так вот, даже пресловутая Мария Ивановна не смела постучаться в квартиру Вокача. Он чем-то был сильнее ее.

Я впоследствии размышлял о причинах особого положения Игоря Игоревича в нашем доме. Теперь объясняю это так.

В том перелопачивании социальных слоев России, которое происходило в 20-е годы в городах, во всяком случае в Москве, в той перетряске и смешении главным было отпадение от среды. В России остались только «бывшие» или «будущие». Бывшие дворяне, бывшие купцы и заводчики, бывшее духовенство. И рядом – будущие рабочие, будущая образованщина, будущие чиновники позднейших времен. Нэп как бы задержал все процессы кристаллизации, которые ускорились только в 30-е годы.

Власть до времени менее всего затронула средние слои интеллигенции, необходимые для функционирования общества и государства. «Интеллигент» было имя бранное. Но вместе с тем и определявшее некий устойчивый социальный тип, тип наличествующий.

Средняя интеллигенция в политическом смысле была довольно аморфна, и пример Вокача, почти открыто не признававшего власть, был не самым распространенным. Но именно это подспудное ощущение «необходимости», «ценности» интеллигента в сочетании с личным бесстрашием и наличием твердых принципов создавало Вокачу некий ореол и неприкосновенность.

На какой-то момент носителями культуры, продолжателями нравственной и культурной традиции оказались русские средние интеллигенты формирования конца XIX – начала XX века⁷.

Этот тип к войне вымер или эволюционировал, или деформировался, о чем я скажу ниже. Но он в своем историческом развитии многое породил в нашем обществе, в том числе – и нравственную позицию нынешней истинной культурной элиты, нравственную преемственность русских поколений – в ее высших, демократических и гуманистических выражениях; породил он и тип интеллигента из «полуэлиты» – тип возвратный, подражательный, в сущности камуфлирующийся под интеллигента 10–20-х годов – тип городского почвенника, тоже пещерного и как бы не принимающего современности, но где-то глубоко зависимого от нее и порождающего в ней явления духовного упадка.

Интеллигентов, как я говорил, было не так много в доме. К ним относились скорей насмешливо, чем почтительно, ибо внешний облик и манеры сильно отличали их от остальных наших обывателей.

⁷ Может быть, то, что породило «среднюю интеллигенцию», было выше нее.

Помню я смешную фигуру архитектора Покровского, строителя нашего дома. Долговязый, старомодно одетый, с длинным лицом почти без подбородка, он выходил всегда в сопровождении жены, удивительно внешне на него похожей, и целого выводка уродливых дочерей с одинаковыми сумочками или муфточками. В аристократических их профилях было что-то овечье. Может быть, выражение крайней безобидности. И невольно ожидалось, что семейство Покровских заблеет и выбежит на газон сквера щипать травку.

Жил у нас еще неудачливый и очень глупый инженер Френкель. У него всю жизнь что-нибудь отбирали. Он уверял, что изобрел искусственный шелк, а от изобретения его оттерли. И он вел многолетнюю тяжбу по этому поводу, перипетии которой рассказывал всем желающим, даже детям. Потом у него реквизировали полквартиры, в порядке уплотнения. Потом увели жену, которую он очень любил. Потом он женился снова на матери известной балерины. А та оттяпала у него комнату и тоже ушла.

Особое место в моей детской памяти занимает Алексей Николаевич Дорошенко, отец подруги моего детства. О нем помню из рассказов, что он был талантливый экономист, один из авторов денежной реформы 20-х годов. Это был милейший, в чеховском пенсне, молодой человек, всегда несколько встрепанный, разговорчивый, общительный. Он часто играл с нами, детьми, дразнил плаксу-дочь, напевая песенку:

Тумба-тумба, тумба-тумба,
Люська с чертиком гуляет.

Алексей Николаевич умер рано, и лицо его, которое, кажется, я помню, скорей всего сопряглось с его фотографией, висевшей над старым письменным столом: чеховское пенсне, слегка встрепанные волосы, выражение доброты и ума.

Болезнь и смерть Алексея Николаевича – одно из сильнейших детских впечатлений.

В каком-то выцветшем коротком халатике Алексей Николаевич ходит по комнате, которая одновременно и столовая, и детская, по комнате, где играем мы с Люсей. Рассеянно отвечает он на наши приставания. Кашляет, сплевывая в баночку. А взгляд его устремлен в окно, на морг Туберкулезного института, у ворот которого похоронные дроги ожидают очередного пассажира.

«А ты все-таки попка, попка пригласи», – говорит он жене. И я думаю, зачем ему попугай, не для нас ли с Люсей, и понимаю, что не для нас.

Алексей Николаевич умирает от болезни, которую теперь чаще всего вылечивают антибиотиками. Но стоило ли лечить его тогда, даже антибиотиками, если ему все равно не уцелеть в тридцать седьмом, а то и раньше, когда прибирали легальных марксистов, эсеров всех мастей и прочих. Алексей Николаевич был из этой породы.

У него я впервые видел глаза умирающего – без пенсне, мутные, отрешенные, потусторонние. Это навсегда запомнилось.

Проклятие смерти лежало на восемнадцатой квартире, где жили Дорошенко. Там, в темной комнате за кухней, отравилась сулемой няня Туберкулезного института. Я видел ее бедный, некрашенный гроб, ее самое с закрытыми глазами, с синеватым, очень худым лицом – потом синий цвет мне чудился цветом яда.

Через несколько лет в шкафу Люсиной комнаты повесилась тихая, некрасивая Броня, родственница Дорошенок, снимавшая у них угол. Оттуда же, из этой комнаты, выбежала, чтобы броситься из окна подъезда, безумная Маша Кнорре, дочь Люси. Оттуда же вынесли убитую этой смертью мать Люси – Эсфирь Михайловну.

Смерти, смерти. Много смертей в нашем доме. И чуть ли не с младенчества в мое сознание входит таинственное понятие смерти.

Умирает сумасшедший нэпман Эпштейн от наследственного сифилиса. Он лежит в гробу, лицо его забинтовано. Он буйствовал в сумасшедшем доме, и его, видно, зверски били. В головах гроба стоят два подростка, сыновья Эпштейна, дебиловатые Мома и Адик. Стоят безучастно, без интереса наблюдая процедуру похорон.

Умирает, оставив двух сирот, сестра из Туберкулезного. У нее совершенно желтое, аскетическое лицо. Девочки – возле гроба, растерянные и одинокие.

Умирает жена рыжего Прейса после тайного аборта. Прейс деловито ее хоронит. Остаются двое сирот.

Смерть в моем раннем сознании – не конец чего-то, а начало, перелом. Дальше продолжают судьбы мужей, жен, детей.

Смерть – некое событие, являющееся началом других событий. Смерть как конец я начинаю понимать потом, лет в двенадцать. И не сплю ночами, в ознобе страха, вдруг осознав, что и я смертен.

Но это потом. Пока же смерть странным образом размыкает узкий мир нашего дома.

Площадь Борьбы, бывшая Александровская, – треугольник, неровно замощенный булыжником. На моей памяти здесь разбивается сквер. В сквере молоденькие деревца, теперь уже выросшие и тенистые. А тогда тощие и не мешавшие обзору. По одной стороне треугольника, ограничивающего сквер, – наш дом. По другой – забор Туберкулезного института и на углу Новой Божедомки, ныне улицы Достоевского, – морг.

Морг явным образом доказывает, что смертны не только обитатели нашего дома, но и другие жители города. Значит, жизнь переламинается и продолжается и там, возможно, таким же образом, как и в замкнутом мире дома.

Похороны, кроме того, – зрелище, одно из самых увлекательных у нас на скверу, наряду с шарманщиком, ученым медведем, водимым цыганами, с бродячими акробатами и петрушкой.

Похороны – зрелище.

У ворот морга стоит резной катафалк, чаще всего черный, а порой красный – это хоронят партийца.

Пара черных коней, запряженных в одну оглоблю, с черными или красными султанами, как в цирке, покрытых траурным сетчатым покрывалом. Траурный возница в цилиндре с перышком и в длинном, торжественном, хотя и засаленном одеянии.

И духовой оркестр, играющий марш Шопена или «Замучен тяжелой неволей». И всхлипывания, и плач. И медленно трогаящийся кортеж, уходящий либо по Бахметьевской – к Лазаревскому кладбищу, там теперь детский парк культуры и отдыха, либо – к Палихе, туда, на Ваганьково.

И уходящий, удаляющийся – и чем дальше, тем чище и грустней звучащий оркестр – тоже размыкает пространство. Но это иная даль, чем свалки, пустыри и паровозы за садом баронессы Корф, – торжественная, обстроенная городом, раскрывающаяся музыкально даль жизни, смыкающаяся с потусторонностью, но далеко, невидимо, даль, в которую уходит похоронный кортеж, символ слома и начала новых судеб.

«Для чего это воспоминание? – вновь настойчиво спрашиваю и себя. – Для чего эта память, так настоятельно требующая излияния чернил на бумагу?»

Только ли болезнь памяти заставляет нас взяться за перо, чтобы изобразить прорастание собственной жизни и того, что произрастает вокруг? То, что произрастает вокруг! Может быть, в этом и весь ответ?

Воспоминания пишут по многим причинам. От одиночества и ощущения гибели, как пишут записку на тонущем корабле и, запечатав ее в бутылке, вверяют волнам бурного моря, авось прибьется к какому-нибудь берегу последний вопль о кончающейся жизни. Пишут свидетельские показания о событиях, чтобы распутать клубок неправды, а то и еще более запутан-

тать его. Пишут из любви к повествованию и от скуки. Пишут из тщеславия – объяснительные записки о собственной личности, направленные суду потомков. А на деле получаются само-разоблачения, ибо нет никого наивнее и откровеннее, чем люди, склонные к самолюбанию.

Бывают записки умных людей с дурной памятью. Или записки дураков с хорошей. И потом долго бьются – кто же написал правду. Есть воспоминание – течение. Есть воспоминание – учение, житие, притча. Есть воспоминание – памятник, попытка уберечь себя от забвения.

Многие из названных видов воспоминаний не чужды мне. Но для себя я так определяю смысл этой книги: главная мысль моя, главная цель – воссоздание собственного «я», исследование его опыта и через опыт возвращение к самому себе. Воссоздать собственное «я» и взглянуть на него со стороны. Задача эта не полностью ясна и для меня самого и сформулирована, может быть, очень приблизительно. Точнее – ясно направление, но я не могу предвидеть результата, как нельзя предвидеть, к чему приведет исследование, ибо если результат его заранее ясен, то само исследование не нужно.

К тому же я собираюсь иметь дело с собственным «я». А это одно из самых темных наших понятий. Мы скорее чувствуем, чем понимаем, что это такое.

В этом понятии есть одно, кажется, всем присущее свойство. «Я» не изменяется всю жизнь. «Я» – стержневое начало в человеке. Меняется все: характер, убеждения, внешность. «Я» неизменно. Оно – чувство твоего существования в мире и появляется вместе с сознанием (а может быть, и раньше его) и угасает вместе с ним (а может быть, и продолжается – кто знает?).

«Я» неизменно. Во все времена оно чувствует боль и удовольствие и воспоминание о боли и удовольствии как нечто, присущее одному неизменяющемуся субъекту. И в этом осознает себя как продолжающееся «я», независимо от той оболочки, в которую заключили его время, обстоятельства и возраст.

«Я» не изменяется как субъект. Но чем больше мы живем, тем более расходится твое собственное ощущение «я» с тем, что видят другие, да и ты сам своим «не я».

В этом жгучая правда стихотворения Ходасевича:

Я, я, я. Что за дикое слово!

«Я» сущее и «я» воспринимаемое пребывают в единстве лишь в детстве. Оттого с такой радостью обращаемся мы к детству, к незамутненному самому себе. Оттуда и должно пойти воссоздание. То есть возвращение к нравственному содержанию, данному нам от природы, возвращение к себе.

Опыт должен быть счищен слой за слоем. И каждый слой исследован отдельно. Странная задача!

Исследовать опыт и оставить нетронутым «я»? Возможно ли это?

Кто знает! За рамками «я» в этой книге остается исследование опыта, может быть, местами скучноватое, как всякое исследование. Но если не будет просвечивать то изначальное, чем даже гордиться я не могу, ибо было мне дано с рождением, если не будет просвечивать «я», в чьих пороках не могу каяться, ибо с ними пришел в мир, если не будет его – я сам, дописав последние строки, скажу себе: книга не удалась.

Квартира

Квартира на Александровской площади досталась нам вот каким образом.

С 1915 года в ней жил варшавский коммерсант Вигдорчик, муж маминой сестры. Помню старую фотографию, где изображены упитанный мальчик в форме бойскаута и девочка в кружевных панталончиках – мои двоюродные брат и сестра. Вигдорчики были беженцы, так назывались тогда люди, эвакуировавшиеся из Варшавы перед приходом немцев. После замирения с Польшей семья тетки, запихав в мыло бриллианты, отбыла в Варшаву, а квартира, обставленная мебелью красного дерева в стиле *fin de siècle*, досталась нам. Отец как врач при действующей армии получил охранную грамоту на жилплощадь и имущество бывших буржуев.

С нашим въездом в квартиру совпал распад провинциального гнезда. В Москву из Борисова приехали дед, тетка и дядька. Они заняли две комнаты, в двух других поселились мы.

Не помню возвращения отца с фронта, хотя, кажется, умел к тому времени говорить. Смутно помню железную буржуйку в большой комнате, сохранившей название столовой. Следы от нее навсегда остались на паркете.

Первое воспоминание. Я лежу в кровати. А по комнате ходит большой человек в шинели внакидку и что-то жует. У него толстые красные губы. Потом я его узнал – это Эдельштейн, друг отца, военный врач. В Москве он был зимой двадцать первого года. Мне, значит, месяцев восемь. Человек ест. Для детского сознания еда – понятное и важное дело.

Рано пришедшее слово – Пушкин. Я стою на кухонном окне. Мне говорят: «Гляди – Пушкин. Пушкин – козел». Старая интеллигентка из нашего дома держит во дворе коз. Ей нужно козье молоко для поддержания здоровья.

Козы пасутся в саду баронессы Корф, иногда выходят на улицу и едят афиши.

Окно – мое кино. События происходят в кухонном окне. Из столовой – только листовенная поверхность садов, Сухарева башня, отдаленные крыши домов. Улицы не видно с шестого этажа. От нее – только звуки.

Еще до рассвета – шоркает дворницкая метла о тротуар. Федор Абрамыч встает раньше птиц. Потом в тишине цоканье копыт. Извозчики. Одно из первых моих слов в такт копытам: э-э-дет! Просыпаются галки. Огромными стаями они шумно кружат над садом. В окне – заря и галочки стаи. Едут ломовики, гремя о булыжник железными шинами колес. Иногда долго везут рельсу – огромный камертон.

Потом прокладывают по Бахметьевской трамвайную линию. На ранней заре со звоном стеклянного бубна пролетают трамваи.

Звуки способствуют воображению. Я представляю себе извозчика, трамвай, метлу, может быть, вовсе не такими, каковы они на самом деле.

Звуки законного пространства пробуждают чувство одиночества.

Ощущение прочности возвращается, когда постепенно заря высветляет углы комнаты, кофейного цвета тисненные обои. И убранство. Сияет желтого цвета паркет, который пахнет мастикой и воском. На полу французский ковер – по красному фону зеленовато-голубой орнамент. Бахрома аккуратно расправлена – кисть к кисти. Рояль «Бехштейн», по сложному лекалу очерченный у окна, отражает зарю в своем черном озере. Вдоль стен, по обе стороны массивного стола под плюшевой зеленой скатертью – предводители нашей мебели – буфет и сервант. Буфет как орган. Он блещет гранями хрусталя, закруглениями красного дерева, зеркалами, медными ручками и перламутром. У дальней стены – баржой на приколе – тоже красного дерева кровать. И еще множество предметов помельче: тумбочка – узкий дом с мезонином; чайный столик на колесиках, откидывающий по бокам четыре плоскости из толстого стекла; стоячие часы в углу, похожие на человека в чалме, часы с двойным боем, которому предшествует долгое хрипение в глубине организма; и еще золоченые овальные часы на буфете

рядом с серебряной вазой; торшер, литой из белого металла, с палевым шелковым абажуром; кушетка с причудливо изогнутой спинкой. А над столом свисает на чугунных цепях огромная лампа с цветными стеклышками и хрустальными шарами и шариками. Шарiki иногда выпадали, и я утаскивал их, постепенно разрушая лампу.

Моя кровать вдоль наглухо закрытой двери в кабинет явно не подходит ко всему мебельному ансамблю. Но у папы частная практика – у подъезда прибита вывеска «Кожные и венерические болезни». На двери – надраенная медная табличка. А в квартире – кабинет.

Кабинет, как я теперь понимаю, обставлен на медные деньги. Письменный стол и кресло, покрашенные белой эмалевой краской, клеенчатая кушетка, плохонький шкаф для инструментов и такой же – книжный, украшенный, впрочем, разрозненными томами «Реальной энциклопедии». Но само слово – кабинет – звучит внушительно. Туда мне удастся проникнуть только изредка и только тайком, чтобы полюбоваться на никелированные орудия папиного ремесла да украсть несколько листков гладкой бумаги для рецептов и анамнезов. Иногда удастся прихватить круглую печать. Я с восторгом ее ляпаю на все, что попадется под руку.

Вещи у нас в квартире уважаемые. Папа искренно огорчается, когда у нас что-нибудь портится или ломается. И я редко что-нибудь порчу или ломаю. У меня вырабатывается нечто вроде привязанности к вещам. Но не вообще, а к знакомым предметам нашей квартиры.

У меня к ним родственное чувство и род жалости, оставшейся на всю жизнь, дескать, работали вы на меня, служили мне, а я вас недостаточно люблю, недостаточно о вас забочусь. Потому что, по странности, любви к вещам у меня нет, и никогда не было желания иметь вещи, кроме тех, что у нас были. И когда они старели и выбывали из строя, мне тяжело было что-либо выбросить на свалку, а хотелось запихать куда-нибудь на чердак, на пенсию – пусть живет старый стул в свое удовольствие, ничего не делает и покоится на чердаке.

Это чувство жалости к вещам у меня очень раннее. Оно, видимо, идет от раннего ощущения непрочности мира, символом которого были вещи, казалось бы, прочные и надежные навсегда.

Самый старый обитатель нашей квартиры – дед. Он старый с самого начала до самого конца, почти двадцать лет, которые я его знаю.

Утром он молится, прикрытый шелковым талесом, перевязанный молитвенными ремешками, с черным кубиком на лбу. Он стоит в углу своей комнаты, раскачиваясь и громко распевая молитвы. Молитва – его развлечение и удовольствие. Время от времени он прерывается, чтобы переругнуться с теткой. И продолжает с полуслова свой речитатив.

Дед, по моим позднейшим наблюдениям, в бога верует, но не очень. Ему просто удобнее, чтобы он был. А молитвы нравятся ему по содержанию и еще потому, что он знает к ним комментарии и толкования, и потому, что хорошо выучил древнееврейский. И потому, что можно громко попеть, ибо все у деда давно в полном порядке.

Он великолепно знает французский, английский, немецкий, древнееврейский. И еще итальянский, арамейский и немного испанский. И, помолившись, читает грамматики и словари, вероятно, с тем же чувством, с каким молится, – получая удовольствие от знания.

Знания же ему нужны для самоуважения и для того, чтобы передавать их другим и получать за это деньги.

Дед не то чтобы корыстен – он скуп. Ему деньги нужны не для покупки радостей жизни, не для ощущения тайной власти, как у скупого рыцаря.

Деньги для него – овеществление накопленных знаний. Сколько знаю, столько получаю и имею. Он накапливает просто так. И думаю, если бы было возможно, производил бы обратную мену – деньги бы отдавал за знания.

Но это ему было не нужно. Он учился всю жизнь сам. И бесплатно.

Его отец – ювелир – тоже, видать, образцовый скряга, рано пустил деда жить своим умом. И дед, поучившись в Виленском раввинате, оттуда ушел, решив делать светскую карьеру. После

чего выучил несколько грамматик и толстых словарей и стал учителем иностранных языков. Был он типичный учитель, какие бывали сто лет назад. О педагогике не думал. Учениками интересовался мало. Но предмет знал.

Мною в раннем детстве дед не интересовался, потому, видимо, что я не знал иностранных языков. А как меня стали учить французскому, решил, что и у меня все в порядке, и даже почувствовал некоторую симпатию.

Порой заходил в комнату, когда я готовил уроки, садился в уголочке, некоторое время наблюдал за мной. Потом спрашивал:

– А как будет по-французски «Я пошел бы гулять, если бы была хорошая погода»?

Я отвечал. И дед уходил, с удовлетворением поглаживая бородку, всегда криво подстриженную, и напевая:

– Бо-бо-бо-бо!

Он только однажды пытался вмешаться в мое воспитание, этим, может быть, обнаружив, что имеет в отношении меня некоторые планы.

Когда мне было лет шесть, очень довольный пришел откуда-то и сказал мне:

– Завтра придет мосье Гарбарский.

Почему «мосье», я до сих пор не знаю, ведь он должен был меня учить древнееврейскому и был бы в этом случае «ребе Гарбарский».

Мосье Гарбарский оказался рыжеватым курчавым молодым человеком с выпученными светлыми глазами. Он принес книжки с рисунками и почему-то листал их сзади наперед. Человечков я поглядел, а учиться древнееврейскому наотрез отказался.

Встретился я с ним лет через восемь, будучи учеником шестого класса. Как-то завуч сказал нам:

– Завтра к вам придет новый учитель немецкого языка.

Мы узнали друг друга. Но делали вид, что познакомились впервые. Обоим это было выгодно. Я скрыл от класса, что Гарбарский бывший «мосье» или «ребе». А он никогда не вызывал меня к доске.

Лишний пример, что наше невежество зависит не от учителей, а от обстоятельств и нас самих.

Дед учительствовал очень долго – лет до восьмидесяти с лишком. Но в конце концов ослабел слухом и зрением, и новые ученики перестали появляться.

Осталась только дружба с мадам Горфинкель, ученицей сорокалетней давности. Семейство этой дамы дед регулярно посещал. К визиту готовился загодя. Несколько дней сочинял французские стихи в духе старинной оды, где воспевались добродетели мадам Горфинкель, особенно ее щедрость, ибо дед всегда возвращался от ученицы с кульком гостинцев. Воспоминание о прежнем кулке и ожидание нового подстегивали его вдохновение.

В день визита надевалась ветхая манишка и галстук-бабочка древнего происхождения, а поверх – сюртук покроя восьмидесятих годов прошлого века. Из-за сюртука, изрядно засаленного, – дед был неряшлив – вспыхивала громкая ссора с теткой, пытавшейся хоть немного оттереть пятна. Дед на жаргоне никогда не говорил, предпочитая другие языки, но с теткой ругался только на этом наречии. И сюртук чистить не давал, боясь его повреждения.

На голову дед надевал котелок, давно дырявый, после чего, кряхтя, влезал в бобровую шубу, откуда бобер торчал сквозь прорехи. Я любил на досуге дергать подкладку за хвостики и немало их поотрывал.

Дед отправлялся в гости.

Было это часов за пять до назначенного времени, ибо из скупости дед не пользовался не только извозчиком, но и трамваем, утверждая – может быть, не без оснований, – что пешее хождение всего полезней.

Идти ему было до Остоженки. И шел не торопясь. Отдыхал в Екатерининском парке, потом на Цветном бульваре, потом на многих скамейках Бульварного кольца. Везде веда приятные беседы и заводя знакомства, особенно если попадался собеседник, знающий иностранные языки.

Так однажды он познакомился с негром.

Вернувшись, по обыкновению, от мадам Горфинкель уже к вечеру, дед в тот раз был явно взволнован и потребовал, чтобы тетка на следующий день купила сухарей и сахару, ибо у него завтра гость. Случай покупки угощения был необыкновенный.

Я упустил момент, когда пришел негр. В полдень из комнаты деда слышалось громкое пение. Я приоткрыл дверь. В комнате деда, разевая огромный рот, пел негр.

Но негр пришел только однажды.

Дед же в основном скучал. Читал по привычке через толстую лупу сборники грамматических упражнений. Заходил ко мне, просил отыскать в потрепанном русско-французском словаре Макарова какое-нибудь слово и, испытывая память, шпарил наизусть несколько страниц. Он вообще проверял ход своего дряхления. Бывало, подойдет к окну, долго всматривается и спросит:

– Ты видишь Сухареву башню?

Мне было жалко деда. И я отвечал:

– Нет, сегодня туман.

Его удовлетворял такой ответ, и он уходил, напевая свое «бо-бо-бо».

Еще он раз в неделю ходил в Тихвинские бани, с открытия до закрытия парился и мылся на полный двугривенный. Иногда сиживал на сквере, тщетно подстерегая собеседника. В булочной покупал французскую булку, ожидая, чтобы привезли свежие. И, поднимаясь на шестой этаж без лифта, громко считал ступеньки. Как будет его одиннадцатая – значит, взобрался домой. Истинным его развлечением было чаепитие, которое длилось с небольшими перерывами весь день. Чаем своим он сильно надоедал нашей Марфуше. Та громко ворчала:

– Ходишь, ходишь, а тебе уже помирать пора.

Дед делал вид, что не слышит, вежливо переспрашивал:

– Что вы говорите?

И она, устыдившись, ставила на керосинку очередной чайник.

Чай, по обычаю, пился с молоком. Но отпив полстакана, дед снова доливал его кипятком, жалуясь на то, что остыл. Сахару же и молока больше не добавлял. Оттого, в конце концов, пил мутный несладкий кипяток. Даже пробовал с солью. Из экономии.

Но были у деда и свои звездные часы – весна и конец лета, время очередных и вступительных экзаменов в Институт инженеров транспорта.

Как старый боевой конь, услышавший сигнал, дед в эти дни с самого раннего утра был взволнован. С теткой не переругивался, деловито собирался и торопливо уходил. Он шел в Инженерный сад.

Тут он располагался на скамейке с ликующей уверенностью в удаче. И действительно, долго ждать не приходилось. Кто-нибудь из студентов садился рядом. Дед начинал беседу. И скоро выяснялось, что некий замечательный старец готов консультировать каждого желающего по любому вопросу грамматики на любом языке.

Вокруг деда собирались студенты. Он расцветал, спрягая неправильные глаголы, был неутомим и никогда не отвлекался.

После обеда, до темноты, он тоже сидел в саду. И его уже там знали и вспоминали с прошлого года. И так до конца экзаменов.

Студенты разъезжались. Дед возвращался домой. Ему, наверное, бывало грустно. Но он не был человеком чувства. Получив свое удовольствие от жизни, он ожидал следующего.

Когда я теперь о нем вспоминаю, я думаю, что, в сущности, мало знал деда. Я почти не знаю его жизни до квартиры, и, надо признаться, он никогда не пытался ничего рассказать о себе, о своей предыстории. У него не было потребности в истории, хотя бы в своей собственной, и повествования о себе не было не от скрытности натуры или от присутствия душевной тайны. Дед, напротив, был человек открытый, бесхитростно устроенный. Он не умел говорить о себе, а только о грамматике, не умел гордиться ничем другим, кроме имеющихся сведений, из-за особого своего устройства, счастливого, потому что защищенного от боли проживания жизни, а по существу – бедного и недостаточного для устройства истинной личности.

Из всех людей детства наименьшее влияние на меня оказал дед. У него всю жизнь не было отношений – ни с женой, ни с детьми, ни с друзьями. Не было и со мной. Накопительство было его единственным призванием и удовольствием. Он не был накопителем жестоким, беспринципным, страшным. Нет, все, что имел, зарабатывал собственным горбом. Но жил процентами с горба и ничем иным. При том был простодушен.

Деньги, например, всегда вкладывал в займы – и в царское время, и при Керенском, и при советской власти. Мечтал выиграть. Не выигрывал, а деньги терял. Но не сильно огорчался, а начинал накапливать снова.

Между прочим, деньги его так же бессмысленно пропали, как и накапливались. Когда дед умер, тетка сожгла старые его книги, засаленные и грязные, как ей казалось – никому не нужные. И чуть не последнюю сжигая, обнаружила между страницами переложённые облигации. Мало их осталось.

Да, мало что осталось от моего деда, хоть жил он на земле девяносто три года. И все же что-то досталось от него мне. Мы все состоим из кусков самочувствия, доставшихся нам от предков. Я знаю, что досталось мне от матери, что от отца. Когда я равнодушен, я – дед.

С дедовой стороны семейное предание расплывается в образе прадеда – ювелира, пустившего своего сына самостоятельно странствовать по волнам житейского моря.

Многочисленные лица обступают меня со стороны бабки, обросшей громадным кланом Фердинандов, коих в ее генерации было штук тринадцать с женами, мужьями, десятками детей – двоюродными братьями и сестрами матери – с детьми детей. У Фердинандов – фамильная гордость, семейная солидарность, постоянная связь при распространенности по разным городам. Их разветвления еще на моей памяти живут в Минске, Воронеже, Куйбышеве, Борисоглебске, постоянно мигрируют, женятся, плодятся, растекаются, но долго не утрачивают между собой отношений. Троюродные и четвероюродные еще числятся родственниками и вдруг приезжают в гости или в командировку, ночуют, живут, едят у нас и переносят друг от друга семейные истории и происшествия старых и новых годов. У них еще общие воспоминания, неожиданно обнаруживаемое сходство в привычках или в носах. Огромные фердинандовские носы они носят, как гербы дворянской фамилии.

Общепризнанный глава клана – дядя Натан, огромный, пузатый, с носом баклажанного типа, при этом по-особому элегантный и представительный, как бывший богатый человек. Дядя Натан – мой двоюродный дед, комиссионер рояльной фирмы «Шредер» и меломан – отличается невероятной щедростью, добродушием и веселостью. Всю жизнь он ненавидит скучную и вечно охающую свою жену, которая исправно рожает ему детей и ожидает его из постоянных поездок, где дядя умел сочетать серьезное дело с низменным удовольствием.

Дядю все уважают, радостно ожидают в гости. И он, прибывая, – огромный, толстый, шумный – всегда одаряет каждого из племянников и двоюродных внучат чем-нибудь приятным и не совсем утилитарным – банкой халвы, обломком браслета, бронзовым Мефистофелем, ручкой слоновой кости для чесания спины. Мне, когда я подросток, стал приносить контрамарки в Консерваторию.

– Э-э, как там зовут твоего мальчика, – говорил он матери, – пусть пойдет послушает музыку.

Дядю послушаться было нельзя. И я ходил. И довольно рано привык к музыке.

Семейная молва приписывала дяде Натану нечто французское. И не без некоторых, как считалось в родне, оснований.

Все известные мне Фердинанды происходили от уездного фельдшера из города Борисова Минской губернии Авраама Фердинанда. Об этом моем прадеде немало я слышал от матери и от тетки. В одной из комнат до войны даже висел его большой дагерротип – старик с приятными чертами задумчивого важного лица, которого, как у всей мужской части его рода, не портил богатырский нос.

Однако непосредственно за прадедом начинается некий генеалогический туман, откуда выплывает фигура Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск. Маркитант сей, по легенде, отступая с Великой армией, застрял в городе Борисове, где осел, женился и прославился основанием обширного и плодovitого рода.

Не знаю, существовал ли названный маркитант или он – плод досужего воображения моих дядьев, пытавшихся объяснить наличие бродячей крови в семье исконно солидных и положительных казенных раввинов, врачей, аптекарей, домовладельцев, некоего неуправляемого элемента, некоторых, и довольно многочисленных, отклонений. В этой семье, как о заморских птицах, рассказывали о Фердинандах – картежниках, лошадиниках и наркоманах, прожигателях жизни и обожателях женщин. Некоторые из них, овеванные соблазнительной легендой, даже появлялись в нашем доме, например дядя Борис, проигравший на бегах два состояния, жену и всю свою долгую жизнь.

Почему-то все же приятнее думать, что Рафаэль Фердинанд действительно существовал. Будучи наполеоновским солдатом, он скорее носил бы имя Фернан, но, в конечном счете, это небольшая неувязка. Фернан – Фердинанд мог появиться в России в 1812 году еще молодым человеком. И, следовательно, мой прадед, уездный фельдшер, оказывался его сыном, ибо умер старше восьмидесяти лет в начале нашего века. А родиться мог в начале 20-х годов, то есть при Пушкине.

Всего три поколения отделяют нас от пушкинской поры!

Итак, моя генеалогия в ее максимальном протяжении упирается в туман на четвертом колене. И дальше, сколько бы я ни тщился, отыскать что-нибудь достоверное о моих предках невозможно.

Остается только дать волю воображению, на что часто решаются некоторые мои знакомые, люди особого склада.

Одна очень красивая в прошлом женщина утверждает, что происходит от Готфрида Бульонского. А один мой приятель за последние годы с предком своим проделал то же, что и с собой, – постоянно повышаясь в чинах, повышал и предка своего до титулов приметных. Для этого ему пришлось превратить в расстригу скромного священника...атской церкви, сделать его военным, дать особым указом графский титул, а теперь, говорят, бывший поп дослужился до князя и скоро, видать, предъявит претензию на русский престол.

Вообще, видимо, многие люди интересуются предками для обоснования права на историческое существование и вследствие некоторой ущербности сознания своей наличности. Это относится и к целым сословиям. У людей и у сословий есть потребность во что бы то ни стало влиться в историю, то есть жалкая потребность бытия. В пугающем абстрактном потоке времени есть необходимость обнаружить хотя бы крошечный плавучий островок, иногда состоящий просто из всплывшей дряни, – островок, оторвавшийся где-то от неведомого берега. Он плывет откуда-то куда-то, и стигийские волны времени не так страшны на его непрочной спине.

Иногда поиски этого островка – своеобразные поиски духовности (не той и не там!). Может быть, это все же островок духовности.

Хуже, когда островка в сущности нет, когда он плод сословного воображения. Так возникают воображаемые генеалогические линии, мнимые деревья, растущие вверх ногами, – мнимая история народа, нации, интеллигенции или дворянства.

Нет, уж лучше чистое беспмятство, чем эдакая память. Лучше уж разночинческое пренебрежение Манделштама к предкам. Лучше уж смелый и отчаявшийся пловец, решившийся плыть в одиночку по холодным волнам!..

Предки нужны, чтобы в себе прожить их судьбу и, значит, познать себя в потоке времени. Не больше. Но и не меньше.

Раньше всех в нашей квартире встает тетка. Она полна энергии и жажды общения. Громко шаркает в коридоре, громко спускает воду в уборной, гремит посудой в кухне. Но квартира спит. Тетка обижается и уходит на рынок.

Все у нас кажется мне образцовым. Так же образцово хлопает за ней дубовая входная дверь, гулко откликаясь лестничным эхом. Ни одна дверь в мире не умела так хлопать, как наша. Это и есть стук двери. Все остальное – жалкое подобие.

Тетка посещает рынок, как мне кажется, без особенной цели – так, купить кое-какие мелочи. Но возвращается всегда возбужденная, полная мыслей и рассказов. И, конечно, очень интересно наблюдать, как она вынимает из сумки маленькие пакетики со специями, несколько теплых бубликов к завтраку, хлеб, купленный в «той» булочной, а не в «этой». У тетки своей семьи нет, она ведет общее хозяйство. Чувствует важность своей миссии. И будущий обед разрабатывает с глубиной стратега. На рынок она ходит для ориентации и поднятия тонуса. Вообще же почти всё, как у нас говорится, носят в дом.

Поставщики раскладывают свой товар в передней или проходят в кухню. Там они пьют чай, хвалят товар и торгуются с теткой. Часто в разглядывании продуктов и их критике принимает участие мама.

Приходит Настя, откуда-то с неведомого Болота принося битую дичь. Фруктовщик Николай Иванович, высокий плотный мужчина с мягким севернорусским лицом, носит на голове огромный лоток с овощами и фруктами. В кухне возникает красота пышущего цветом натюр-морта.

Стучится булочник (звонок не работает). У него покупают пару плюшек. Через день приходит молочница, принося особый запах молока с холстом. Ей отдают черствый хлеб для коровы.

Сметанница осторожно разворачивает суровое полотно, где завернут белейший творог, и деревянной ложкой наливает из бидончика сметану. Но масло покупают уже у другой женщины, то ли дешевле, то ли лучше.

Раз в неделю является Бедная Еврейка. Ее никто иначе не зовет. Бедная Еврейка тоже чем-то торгует, но больше жалуется на бедность, и ей отдают ненужную одежду, кормят вчерашним обедом и заворачивают пищу с собой.

Еврейка говорит тихим, плачущим голосом. Она всегда умирает. За глаза ее ругают. Говорят, что она бездельница, что целыми днями торчит на базаре, где ругается громким голосом, что у нее здоровый толстый сын, а дочка учится в техникуме. Но помогать помогают: отдают старые вещи и подкармливают.

Бедная Еврейка – не имя. Профессия.

Самый почтенный из поставщиков – Антокольский. Он дальний родственник скульптора и торгует колбасой, жесткой, пупырчатой, пахнущей чесноком. С ним не торгуются. Приглашают к столу. Как-никак – Антокольский. Дядька как-то прочитал:

Антокольский, изваяй

Гарантию и субсидию,
Идеалам форму дай.

Я думал, что гарантия и субсидия – сорта колбас.

Вообще дошкольное детство кажется мне роскошеством пищи, когда в дом что-то приносят, а в кухне что-то варят на керосинках и примусах.

Папа консультирует на кондитерской фабрике Андурского. Он приносит огромные торты и плетеные деревянные коробки с пирожными.

У папы лечится рыбак. Жирные свертки с икрой остаются в передней после его посещений.

Приносят сало, ветчину, виноград, оливки, телятину, цветную капусту.

Я испытываю отвращение к пище.

Это нэп.

Мой дядька – нэпман. В подвале нашего же дома помещается производство, а в бельэтаже, где сейчас сберкасса, – контора фирмы «Меркурий»: ленты для пишущих машинок и чернила.

С детства помню рекламную картинку, печатавшуюся во многих журналах. Там был изображен бегущий человек, а внизу подпись – «мозолей, крыс, мышей». Видимо, рекламировалось средство, уничтожающее одновременно названные отрицательные явления.

Для меня это было стихотворение:

Мозолей,
Крыс, мышей.

Мозолеем представлялся мне мой дядька, потому что бегущий человек на него несколько смахивал. И еще потому, что дядька не мог ходить, а только бегал. Это свойство – странное последствие сыпного тифа. И дядька тщетно пытался скрыть особенность своей походки.

Выходя из конторы «Меркурия», он долго стоял на углу улицы и, пропустив идущий по Бахметьевской трамвай, пускался за ним следом до остановки, делая вид, что очень спешит.

Дядька – высокий блондин с глазами немного навывкате. Когда он приходит в гнев, глаза наливаются кровью, выпучиваются, и он становится страшен. Но его никто не боится. Ибо дядька добродушен, щедр и отходчив⁸.

Кажется, боится его только тощий грек Теофил Андреевич, сифилитик и дядькин компаньон. Дядька – коммерческий директор «Меркурия». Теофил Андреевич – технический руководитель. Целый день он торчит в подвале, вручную крутя какой-то агрегат. В этом помогают ему жена и две взрослые дочери. Фирма не имеет наемной рабочей силы. Скорей всего, она числится кустарным производством. Грек крутит агрегат, откуда ползет бесконечная лента для пишущей машинки, и при этом он поет тонким, почти женским голосом с одесским акцентом. Пение – его страсть.

Не знаю, каковы деловые качества дядьки и зачем он нужен трудолюбивому греку. Но живут они душа в душу.

Элегантно одетый, молодой и красивый дядька едет с утра по делам. Грек же, в черном халате, перепачканном типографской краской, хлопчет у станка.

Может быть, сближает их необузданность фантазии и – оттого – пристрастие к вранью.

Происхождение грека темно: кем он был до фирмы, никому не известно, а взял его в компаньоны дядька скорее всего по доверчивости. И не ошибся.

⁸ В гневе я – дядька.

Сам же дядька – недоучившийся гимназист, крайне небрежный в учении, попавший восемнадцати лет на фронт, где вскоре сдался в плен австриякам. В плену он находился в Северной Италии, где пристроен был санитаром в военный госпиталь, а потом (тоже мне не известно, где и как) освоил секрет приготовления чернил, ваксы и еще нескольких подобных вещей, после чего вообразил себя человеком европейского образования. В многочисленных тогда анкетах на вопрос об образовании писал – «высшее». А на вопрос, где учился, отвечал по-разному, не заботясь о совпадении версий, – то в Геттингене, то в Мюнхене, то в Милане. Это не мешало ему на опасный тогда пункт – был ли за границей – решительно отвечать: нет.

Впрочем, после нэпа и перевоспитания на Беломорско-Балтийском канале дядька о Геттингене уже не писал, а называл себя скромно и таинственно «химик-практик», отдавшись до конца жизни тайному, беспатентному изготовлению ваксы для ботинок. Ваксу эту он при помощи жены сбывал айсорам – чистильщикам сапог. И квартира наша с тридцатых по пятидесятые годы воняла по ночам ацетоном, плавленным воском и бог знает еще какими специями, необходимыми в производстве ваксы, которую дядька именовал кремом.

Он гордился своим кремом. Вставал чуть свет и чистил обувь для всей семьи. А иногда, застав у меня кого-нибудь из товарищей, говорил:

– Позвольте, молодой человек, на несколько минут ваши ботинки.

Он возвращал обувь, доведенную до немыслимого блеска, и гордо объяснял, что секрет крема известен только ему одному. Любовь к своему ремеслу и гордость своими знаниями достались ему от деда.

Было в нем и нечто от художественной натуры. Некоторое время, например, он увлекался скульптурой, лепил Мефистофелей и портрет деда, довольно похожий. А на Беломорско-Балтийском научился отливать из цемента бюсты начальников и оригинальные пепельницы с инкрустацией из разноцветных камней.

Впрочем, все это было намного позже. А пока, не зная о предстоящих бедах и наивно полагая, что нэп – навсегда, дядька лелеял планы о расширении производства, о превращении скромного «Меркурия» в подлинный «Мозолей, крыс, мышей». Осторожный грек, кажется, этому противился. Но в историю нашей квартиры к концу двадцатых годов вступила супруга дядьки, женщина честолобивая и решительная.

Беготня дядьки за трамваями не довела его до добра. Однажды, вскочив на заднюю площадку, он увидел существо, поразившее даже его тренированное воображение.

Вскоре он женился. Взял он девицу приятной внешности, но бедную и без всякого образования, да еще, добавим, и мерзкого нрава.

Это был мезальянс.

Мезальянс в среде, где я рос, был почти равен адюльтеру. Эти два понятия соответствовали моральной гибели человека, крушению устоев и где-то соприкасались с понятием о смерти. Женщины за вечерним столом у нас с ужасом рассказывали, что дядя Борис ушел от семьи. А дочь почтенного Павла Соломоновича вышла замуж за шофера.

Рассказывалось это при мне. Взрослые полагали, что, выражаясь обиняками, затемняют для меня картины невероятных человеческих крушений и примеры безнравственности мне непонятны.

Я же, с детской хитростью, якобы занятый играми, жадно вслушивался в разговоры взрослых.

Адюльтер и мезальянс грозили теплому гнезду, где я развивался. Они привносили гибельную стихию страстей и порождали страх вторжения гуннов.

С детства я больше всего боялся развода моих родителей.

Приход в дом дядькиной жены был вторжением гуннов. Она пришла, принесла с собой солдатское одеяло, и в тот же день врезала замок в дверь супружеской комнаты. Потом потре-

бовала особого места на кухне. И, утвердившись таким образом, повела дядьку покупать ей шубу, хотя, как помню, пора была еще летняя.

Она не собиралась капитулировать перед чванливыми женщинами нашей квартиры и пристраиваться к клану.

Она пришла разрушить среду, и это ей удалось. Именно ей и принадлежала мысль о расширении фирмы «Меркурий». Дядька связался с какими-то дельцами, уже унюхавшими, что нэпу жить недолго. Теофил Андреевич ушел из дела и стал советским служащим и участником певческой самодеятельности.

А дядька вскоре был арестован, обвиненный в мошенничестве, и сослан на Беломорско-Балтийский канал.

Тетка поступила на работу. Служить во Внешторгбанке стала мама.

Постепенно исчезли поставщики снеди. Перестала стоять на углу моссельпромщица Надя, продававшая твердейшие ириски – сперва по копейке пара, потом по копейке штука, потом по две копейки штука.

Менялся быт. Оканчивался нэп.

Наша квартира превращалась в коммунальную... Только один дед, воплощая в себе прочность времени, навещал мадам Горфинкель, писал поздравительные стихи по-французски и пил чай, не замечая, что сахару стало в обрез, так мало он его употреблял.

Ему уже не надо было проверять, видит ли он Сухареву башню. Башню снесли.

И наш дом в осенние дни неся по волнам Институтского сада не к спасительному маяку, а неведомо куда. В новые времена.

Сны об отце

Мне сны снятся редко. Но среди них постоянно – все один и тот же сон об отце; уразуметь его я не умею.

А сон вот какой.

Столовая в нашей старой квартире. Все прежнее, но словно заброшенное. И мама не дома, а где-то в чужом месте. Это я вижу одновременно – дом и не-дом. Что-то от меня скрывает. Дома никого. Отца нет. Я не первый раз стараюсь его застать. И во мне странное предчувствие. Наконец, где-то на завершении сна, я вижу отца. Но он не радуется мне, отворачивается, говорить не хочет. Он чужой, равнодушный. Я понимаю, что он ушел от нас, что он нас разлюбил. И что у него есть другой сын.

Просыпаюсь с тоской.

Единственное мне ясно, что это сон об уходе. А прежде снилось другое:

Мне снился сон. И в этом трудном сне
Отец, босой, стоял передо мною.
И плакал он. И говорил ко мне:
«Мой милый сын, что случилось с тобою!»

Лицо в этом сне было точно такое, как в гробу. Это был сон о гневе. Это был сон о том, что он не был счастлив.

Я понимаю теперь, что чувствовал это где-то с самого раннего детства. В мою любовь к отцу всегда примешивалась доля жалости. Он вошел в мою жизнь какой-то жгучей лирической нотой, еще неразгаданной до конца. И в стихотворении «Я маленький. Горло в ангине» я плачу не о бренности мира, это литература. Я плачу об отце.

И позже я плакал о нем. И в нем о себе.

Дождь идет. Осень. Сумерки. Я иду по городу, руки затолкав в карманы. Иду отцовской походкой, усталый. У меня болят ноги⁹. Я думаю о доме и о работе. Я – отец. Но думаю почему-то: «Бедный папа!». И слезы наворачиваются на глаза.

И он – я знаю, – так же бредя по дождливому городу, полный забот и усталый, думает: «Бедный сын!».

Наверное, ни я, ни он не были никогда бедными. Но в этой взаимной мысли была какая-то высшая жалость, связывавшая нас без слов. Может быть, жалость об утраченном общем детстве и тоска об утрате друг друга.

Отец – мое детство. Ни мебели квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего младенчества. Его воздухом был отец.

Он и сам какой-то стороной своего существа всегда принадлежал детству. Он не то чтобы любил детей, он, скорей, любил детство, легко входил в него, как входят в детскую комнату, и там не переставал быть тем, чем был. Так же вошел он и в мою раннюю жизнь. Я ощущал его равным. И это равенство только украшалось его взрослым опытом. Он не играл в дитя и не играл с ребенком. Вообще, играть не было ему присуще. Если все мы немного актеры, это совершенно не было свойственно отцу. Он не был внешне ребячлив, наоборот, почти всегда серьезен, с особым, простодушным юмором, какого-то тоже детского пошиба.

Отец был ясен и чист душой. Вот что более всего соприкасалось с моим ранним сознанием. Вот в чем он не изменялся, а оставался. А я уходил, во мне многое оседало, отпадало, перемешивалось. Он же оставался. Сны об уходе – может быть, о моем уходе от него.

⁹ Так это же сон про это. Не только в антураже смерти.

И жалость, и горечь, и тоска, и ощущение безвозвратности – это все о разлучении душ. Мне иногда кажется, что я плохо знаю отца – мы ведь все друг друга плохо знаем. А иногда думаю, что знаю его слишком хорошо, лучше, чем он сам себя знал. Я ведь давно стараюсь отца из моих составных частей особо выделить и к этой части особо присмотреться.

Тут нужна большая работа души. Ведь каждая наша составная часть прилегает к другой и оттого утесняется, изменяется, срывается. А над этими частями лежит и то, что их соединяет, не менее важное – нечто производное, но в этом средостении и есть самое тело моей души. И отца надо из себя вынуть, расправить, связать с тем, что помнится. Вот какая работа нужна – как реставрация старинной картины – та же бережность, та же осторожность. И потом все равно не будешь знать, насколько воспроизведение соответствует оригиналу. И никогда не узнаешь.

Для того, чтобы правду воссоздать, обязательно кусок живого надо выделить. А выдели – и нарушится связь живого с живым, части с целым. И умирает живое, умирает правда. Вот и думай, как достичь, как постичь, как выделить, не вырезывая, как различить, не нарушая.

Вспоминай осторожно!

Я маленький. Горло в ангине. Это у меня бывало часто. А еще скарлатина, дифтерит, корь, свинка, воспаление легких, малярия. Всего не помнит даже мама. Все детство я болею. Но, кажется, только по зимам. И болеть привык. Особая тишина стоит в нашей квартире, когда я болею, какая-то жужжащая, как прятка, тишина. За тюлевыми занавесями только небо. Оттого и не помню – были галки зимой или не было.

Интересное свойство памяти. Когда мы вспоминаем целый период жизни, мы, в сущности, не помним всего протяжения времени, а лишь детали, узоры на бесконечном сером полотне. Эти детали и соединяются в один день, который для нас – картина того или иного времени. А нахватаны частности из разных дней. Память художественна. Помним день, а кажется, что помним время¹⁰. Одаренные люди лучше помнят, потому что ярче подробности их памяти и лучше соединены в картину. Более того, от способа соединения деталей в одно зависит наше ощущение протяженности времени. Нагромождение сюжетов и деталей, не сошедшихся в «один день», рождает чувство быстрого протекания времени. Длинная жизнь поэтому вовсе не та, которая насыщена событиями. Чаще всего, лишенная верного расположения деталей, она кажется быстротекущей и, может быть, бесплодно ушедшей. Длиннен «один день».

Мое начальное детство – день болезни, картина, где для меня самого неразличимы разные по времени мазки.

Видимо, ранняя Пасха. Потому что Теофил Андреевич, грек, подарил мне большое с узорами шоколадное яйцо. А в нем – я знаю – другое, поменьше, а в этом – третье – маленькое деревянное крашеное. А дядька-провизор принес шоколадного медведя. Медведь сидит в деревянной коробочке и изображает зоопарк. Другой дядька – владелец «Меркурия» – дал мне несколько тяжелых медных пятак. Ими я кормлю медведя.

Но все это мне уже прискучило. Я жду отца.

Отец возвращается с работы всегда в одно и то же время. По нему можно проверять часы. А если он чуть запаздывает, фантазия рисует мне страшные картины. Мне чудится, что он попал под трамвай. Меня охватывает озноб. Это уже на всю жизнь – фантазия делает ожидание для меня мучительным.

Я прислушиваюсь к шагам на лестнице. И вот, наконец, слышу его шаги, его стук в дверь. Его звонок.

И мгновенно успокаиваюсь.

Папа входит и сразу ко мне. Он приносит какой-нибудь пустяк – карандашик, блокнотик. Он совершенно не умеет покупать, тратить деньги. Да, по-моему, у него в кармане всегда одна мелочь. Но почему-то этот карандашик, блокнотик дороже мне драгоценного шоколад-

¹⁰ Объяснить, почему «один день».

ного яйца. Я чувствую к ним нежность, потому что это бедный подарок. И его надо приласкать и спрятать под подушку, чтобы ему хорошо жилось.

Отец садится обедать. Ест он быстро, безо всякого внимания к пище.

– Как тебе понравилась телятина? – спрашивает мама.

– А разве это была телятина? – удивляется папа.

Мама, кормя отца обедом, тут же выкладывает ему все события и происшествия дня. Это я слушаю с интересом. Папа тоже слушает, поддакивает. Но очень редко выражает мнение, разве что по вопросам, касающимся непосредственно жизни семьи. Он редко высказывает мнение о ситуациях и людях. Мама, та как будто всегда точно знает, что хорошо и что плохо. И всегда темпераментно утверждает точные свои понятия. Папа, я чувствую, знает это для себя гораздо точнее, чем мама. Но ему не нужно оценивать других, чтобы определить правильность своей жизненной линии. Он как будто никогда не избирает, внутренне не колеблется, но всегда неуклонно движется в одном, раз навсегда установленном направлении. Его движет что-то внутреннее, чему он сам никогда не ищет названия: долг, вера, обязанность, убеждение.

Перед отцом как будто не стояли никогда нравственные дилеммы. Он как будто всегда ощущает свое простое назначение в этой жизни. И мучается только тогда, когда ему кажется, что это назначение он не может хорошо осуществлять. Он не стремится оценивать других, потому что полагает, что у других тоже есть свое назначение, о котором не ему судить. Вместе с тем он не пытается воспроизвести чужое назначение, стать на чью-то точку зрения. У него есть своя линия. И то, что не его линия, он отодвигает от себя. Это как бы его не касается.

Он доброжелателен к людям и исходит из презумпции добра. Но он и наивен. Зло, ложь, корысть, воровство совершенно неприемлемы для него. И уже убедившись в том, что данный человек безнравствен, что его, отцовская линия, не может обойти или обогнуть подобное, он говорит кратко и раздраженно:

– Это мерзавец.

И навсегда уходит, отгораживается от такого человека. Он полагает его несуществующим. Это его форма нелюбви. И отнюдь не нейтральная. Папа умеет не любить, не принимать, и «отодвигание» для него не механический, а, скорей, болезненный процесс. Как бы это объяснить! Он не тратит сил на приятие человека. А на неприятие, на равнодушие тратит. Он тратит силы не на сокрушение зла, а на уход от него. Пожалуй, так.

Я жду, когда отец покончит с обедом и займется мной. Он со мной не играет, а только рассказывает. Он пересказывает свое детство, и я снова его проживаю. Я ищу ему аналогий в своем детстве, так непохожем.

У него было мало игрушек. И у меня мало. Я их не люблю. Мой дед с отцовской стороны служил бухгалтером на спичечной фабрике и детям своим приносил спичечные коробки. Они из них склеили большой дом. И я мечтаю о такой игрушке, она мне нравится больше, чем слон из папье-маше с качающейся головой и чем паяц Микель, которого дернешь за веревочку – и он двигает руками и ногами. Микелем его прозвал папа – он утверждает, что паяц похож лицом на Микеля Анджели.

В детстве отца пугали Микитой, может, это был дворник, может, сосед, Микита живет и у нас. Он не очень страшный, зовем мы его Микитка. Но и я его слегка побаиваюсь.

Он представляется мне не человеком, а странным существом, вроде Берлуки.

Берлука мне однажды приснился. Он лежал студенистой, слегка светящейся массой между нянькиной кроватью и тумбочкой, весь переливался и покручивал один длинный тараканий ус. Я проснулся в страхе.

Теперь я понимаю. Нянька пела одну и ту же песню:

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона.

Из Разлуки стал Берлука и соединился с Микитой. Наша с папой домашняя мифология. Начинается эта мифология с ожидания конца света. В раннем детстве отца появляется комета, вероятно, знаменитая комета Галлея. И в маленьком городке ждут конца света. Старая папина бабка с внучатами забираются с вечера на печь и... ждут. Я переживаю то же потрясение, потому что уже знаю, что такое ожидание.

Я даже забываю, что конца света вовсе и не было.

Он когда-то все же был – для папы и для меня.

Этот рассказ соединяется у меня в сознании с библейскими историями. Папа не рассказывает сказки, а пересказывает Библию. Он рассказывает так же, как про комету. У меня нет ощущения, что все это было давно и происходило не с нами. Я вижу гибель Содома и Гоморры и жену Лота, превращенную в соляной столб. Мне представляется всемирный потоп и так заботливо помещенные в Ноев ковчег семь пар чистых и семь пар нечистых. Как это понятно и практично.

Библейские сказания путаются у меня с папиным детством. Он рассказывает так, словно происходило все рядом с ним, с людьми, хорошо ему знакомыми. История Иосифа, в сущности, история мальчика из папиного городка, у которого были злые и завистливые братья.

А история младенца, пущенного по реке, чтобы избавить от избиения, и выловленного дочерью фараона!¹¹ Есть же еще добрые люди. Я же не знаю, что фараонов давно нет.

И странное ко всему этому причастное существо – бог.

Удивительно, что бог – образ очень ранний – не порождает во мне истинно религиозных представлений. Даже картина сотворения мира не ощущается как могучая аллегория созидания жизни из божественного духа. «Вначале было слово». Так ведь уже было. Значит, было все, названное словом. И сотворение мира – лишь упорядочение того, что было, вроде приборки и расстановки по местам, вроде работы Федора Абрамовича, шоркающего затемно метлой где-то по невидимому тротуару.

Этот образ бога-работника остается у меня надолго. Лет в восемнадцать я писал:

Весь перепачканный и черный
Он шел, со лба откинув прядь,
К земле еще не нареченной —
Игру материи смирять.

Для меня бог был натурфилософской, космогонической метафорой. Не более того. Потребность иного представления пришла вместе с развитием понятия о смерти, то есть о высшей цели бытия. Из двух потребностей – космогонической и нравственной (где-то ощущается, что и они неразделимы) – вторая «ближе к шкуре», необходимей. Бог, рождающийся из нравственного импульса жизни, из необходимости объяснить себе себя, надежней и ощутимей, чем бог-демиург, может быть, еще и потому, что наши представления о материале мира примитивны и ненадежны, несмотря на все успехи современных наук.

Отец внушал мне не взгляды, а представления.

Видимо, начальное представление о боге как нравственной категории идет от него.

Он не был изначально религиозен. Библия для него – реальный атрибут детства. По ней он учился читать. Когда бабушка моя послала учиться грамоте старшего сына, увязался за ним и мой отец, которому от роду было лет около четырех. Учитель взял его в учение за половинную плату. И отец тоже сел за стол, чтобы твердить нараспев библейские строки – в полутемной,

¹¹ Я это до сих пор вижу, как спускается девушка к реке, раздвигая камыши, а по реке в деревянной лодочке-люльке плывет младенец.

убогой, провонявшей селедкой каморке беднейшего из учителей. А когда кто-нибудь приносил плату за учение, учитель радовался и приказывал скандировать всем:

– Хороший мальчик Шмуэл (или Мотл, или еще как).

И мальчик, принеся деньги, радовался. И над темными строками священной книги вставала детская радость. И эти строки постепенно прояснялись и входили в память и непонятным образом вписывались в кривые углы затхлого помещения, в шагаловскую законную кривизну местечка. Я, кажется, понимаю, как можно было воспарить над этим, как парить вместе с этим в библию – сказку, библию – мудрость, библию – дух.

Так сплавлялся в душе ребенка высокий и твердый дух с текучей, зыбкой, детской действительностью. Только детская душа может преодолеть подобное противоречие и создать поэзию детской жизни из столь разнородных и несводимых на первый взгляд материалов.

Внушена ли была ему вера в бога? Бог был скорее традицией, а не верой, в той полувольнотдумной среде европеизирующегося еврейства, к которой принадлежал отец отца, мой дед Абрам, служащий спичечной фабрики.

Отталкивание от среды было сильно уже в том поколении, не говоря уж о поколении отца, будущих врачей и юристов 20—30-х и далее годов нашего века.

Отец, чуть оперившись, конечно, начал с вольномыслия. Но чем дольше он жил, тем нужней был ему бог.

У нас в доме справлялись праздники – и Пасха, и Судный день. Сперва это была дань традиции. Но чем скромней и приблизительней становился с годами обряд празднования, тем торжественней было самоощущение отца. Ибо в празднестве видел он не праздник еды и обряда, а некий символ, для которого достаточно и намек, и приблизительного исполнения.

Он чем дальше, тем больше укреплялся в боге. Вместе с тем, может быть, и сужая сферу божественного от пределов всеобщего до пределов собственной души. От пределов церкви до пределов веры. От пределов вероисповедания до пределов домашнего духа.

Иногда он молился – нечасто, в самые большие праздники. И не так, как дед, получавший удовольствие от слов и от пения. И не истово, а отрешенно, как бы беседуя с самим собой. Думаю, что фанатический элемент в составе его натуры, тот, о котором говорено будет ниже, толкал его молиться тайно, про себя, на ходу. И не молиться, а молить. И не за себя, а за меня. Как, вероятно, молил он о том, чтобы я остался жить на войне. Может быть, это были самые мощные импульсы его воли и самые, с его точки зрения, результативные в пределах тех целей, которые он перед собой ставил.

Да и кто знает, что такое молитва! Мы, люди трезвого взгляда, склонны более всего считать ее застарелой формой психотерапии. Между тем в молитве частная воля осознает себя как часть всеобщей вселенской воли и, может быть, как таковая, способна до некоторой степени изменять характер всеобщего явления воли, то есть быть результативной. Кто знает!

Отец не был фанатиком, тем более религиозным. Для знавших его он скорее был образцом терпимости. Но в жилах его текла кровь фанатиков.

Суровая фигура – мой прадед. Он стоит одиноко в семье, отделенный почтением и страхом от детей и внуков, от простой, суеверной и благоговейщей жены, весь погруженный в молитву и высокое учение Талмуда. Он живет не в местечковой действительности, а поверх нее, может быть, и не зная белорусского наречия – разговорной речи неученой прабабки. Ему нет нужды общаться с окружающим людям. Все дела, связанные с домовладением, ведет жена. Ни одна пылинка, кроме синагогальной пыли и праха древних книг, не должна коснуться бархатной ермолки и черного сюртука. Ни один волос не должен упасть из благословенных пейзажей. Общение с богом – единственное дело внушительного старика.

В восемьдесят лет, почуяв приближение смерти, мой прадед продает свое недвижимое имущество и уезжает умирать в святую землю, в землю Израиля. Он уезжает один, ибо бабка

не хочет оставить детей и внуков. Да она и не нужна ему. Уезжает один в тогдашнюю пустую и выжженную землю. Умирать. Это было в конце прошлого века.

Фанатические начала передались в форме особой непреклонности нисходящим коленам отцовской семьи. Фанатизм был глубоко в нем запрятан, смягчен временем, образованием, понятиями.

Но где-то наличествовал и в нем.

Отец уважает веру. Всякую веру. Его собственная вера совсем нетрадиционна. Она многими чертами напоминает толстовство. Он был бы идеальным сектантом. И его меньше всего интересует обряд, вся внешняя сторона религии. Его даже не интересует вероисповедание. Терпимость христианства, может быть, ближе ему, чем карающий и осуждающий бог иудаизма. Но vykрестов он не терпит.

Церковь для него нечто иное, чем вера, нечто интимное, относящееся к традиции национальной и семейной. Да церковь такова и есть по замыслу – она связана с начальным, детским ощущением бога и с таинством, которое – уверен и я – открывается во всем начальном окружении человека, в его раннем сознании. Это потом может забыться, но обязательно где-то выплывает, какой-то особой потребностью вновь приобщиться к изначальному, к своему, родному, где соединено земное и небесное: отсюда – «А ты все-таки попка, попка пригласи!» – в устах бывшего русского нигилиста Алексея Николаевича Дорошенко.

Церкви не зная, ее и не узнать.

Не слишком ли поспешный способ растворения русских евреев в русской нации – принятие православия? Не должна ли произойти сперва та степень внедрения в культурную почву, в мироощущение, как у Пастернака, например, чтобы принятие церковного крещения было только последним знаком причастности, унификации внешнего облика? Нет ли в этой поспешности элементов неуверенности и недостатка собственного достоинства? Ведь это не принять учение, а прийти во храм!

Русскому еврею не вернуться в синагогу. Но и сразу не вступить во храм. И надо ли торопиться? Не сразу и Русь строилась православной. Не сразу образовалась она в нацию православную, когда утопила идолов в Днепре. Не раньше, чем родился деревенский попик, не раньше, чем потемнели иконы, не раньше, чем отъехали византийские иерархи, не раньше, чем языческий бог стал святым Николой.

Так смотрел мой отец на перемену веры. И, наверное, взгляд его на это правильный. А о перемене веры много будет говорено ниже. Но главным, по-моему, в вопросе о vykрестах был момент национальный. Наряду с заданным понятием о боге было в нем задано и понятие о нации.

Сейчас о нации судят космополиты, которые вовсе ее отрицают, либо почвенники, для которых категория эта выше бога и гуманизма – всего выше.

Отец не судил о нации, а просто к ней принадлежал.

Он принадлежал к нации, как к религии и к семье, то есть принимая эту принадлежность как главные постулаты своего существования. Он был не из тех, кто постулаты подвергает сомнению. Он твердо на них строил свое духовное здание. И вера, нация и семья были три главных камня, положенных в его основание.

О его вере я уже сказал. Скажу о его нации.

Евреи как нация явление уникальное. И это не требует доказательств. В России дореволюционной эта нация впервые за две тысячи лет обрела некое территориальное единство – черту оседлости. И оказалось, что в черте начала загнивать. Черта была не хуже других границ, не хуже, например, наших нынешних твердых границ. Но евреи, лет триста имея границу, ничего существенного не создали – ни литературы, ни музыки, ни живописи, ни философии. Ничего. Где-то внутри этой нации есть потребность перейти границы. И когда это невозможно, она загнивает, обращается в быт и деторождение – в сохранение рода для грядущих времен.

Это, может, и неосознанно, но это так. Для грядущего царства духа плодятся еврейские мещане и ремесленники. Их главные опоры – бог и чадолюбие.

Уникальная судьба еврейской нации порождает взгляд на уникальность всех перипетий этой судьбы. Существование и складывание российского еврейства внутри черты оседлости – как раз и конец этой уникальности.

В черте оседлости еврейская нация стала загнивать. Она была не хуже и не лучше других частей образующейся имперской нации – не грязнее поволжских инородцев, не суевернее русских крестьян, не фанатичнее староверов, не корыстнее городских мещан. И была фатальная перспектива загнить или подняться до уровня имперской нации, стать ее органической частью.

Разные нации по-разному ощущали эту необходимость в конце XIX века. Некоторые пассивно, некоторые с внутренним сопротивлением. Евреи ощущали это активно, в чем, может быть, сказывались особенности их полуправного положения, а может быть, энергия, заложенная в национальном характере. Это была эпоха перемешивания сословий, социальных укладов, экономических устройств и национальных элементов.

Русская нация переживала эпоху складывания в имперскую нацию, то есть утрату некоторых своих культурно-этнографических особенностей и приобретение качеств сверхнациональных. В этом явлении, может быть, одна из причин необычайного взлета русской культуры в начале нашего века.

До эпохи складывания России в имперскую нацию русских евреев как таковых не было. Их не было или почти не было в России. Русские евреи начали образовываться, когда отслужившим николаевским солдатам дано было право селиться в российских городах, когда образовательный ценз и принадлежность к гильдейскому купечеству позволили пересечь черту оседлости, когда все права фактически получили выкредеты (а они появились тогда, когда на деле к исконному русскому населению стал подмешиваться еврейский элемент).

Процесс был возможен только в это время – пору складывания – ни раньше, ни позже.

И в русской нации в ее новом качестве сразу же проявился еврейский элемент – Рубинштейны, Левитаны, Антокольский, а на поколение позже – плеяда критиков, литераторов, издателей, художников, юристов, музыкантов. А еще на поколение – Пастернак, Мандельштам.

Из черты оседлости выпускались лишь интеллигенты или те, кто в перспективе порождал интеллигентов. Так еврейский элемент изначально становился частью имперской интеллигенции.

По-своему – в легкости этого перехода сыграло роль исконно русское воспринятое понятие о народе как о крестьянстве, устаревшее уже понятие. С этой точки зрения еврейского народа не существовало. Тем легче было воспитанникам русской идеи уйти от полународа к народу.

А тоска по народу-крестьянину была. Это я знаю по отцу. Когда-то в николаевскую пору была попытка посадить евреев на землю, попытка неудавшаяся, остатки ее – лишь немногочисленные сельские колонии в Таврии, но именно в ту пору часть евреев приписана была к сельским обществам.

Отец мой по документам – не мещанин, не купец, а крестьянин некоего (позабыл уже, какого) земледельческого общества.

И хоть к земле его родные имели не больше отношения, чем любой из жителей маленького полусельского городка, отец с удовольствием вспоминал свое именно крестьянское сословие. Наибольшее уважение испытывал он именно к крестьянскому труду. Любил домашних животных, особенно тех, с которыми имел дело с детства, – лошадей, коров, собак и домашнюю птицу.

Эта тоска по основе нации – крестьянству, может быть, основа почвенничества Левитана. Я однажды спросил отца, какой партии он сочувствовал. Со смущенной улыбкой ответил: – Эсерам.

Конечно, правым.

Процесс образования сверхнации, как и любой серьезный исторический процесс, дело трудное и мучительное. Если взять лишь одну сторону этого процесса – прирастание еврейской ветки к основному стволу формирующейся сверхнации – и то приживание было болезненным, трудным, мучительным для обеих сторон и вместе с тем, с где-то ощутимой целью, с обновлением и освежением и ветки, и ствола.

И все-таки великое историческое преобразование происходило, давало свои результаты. Революция, обнажившая и обострившая все стороны русской жизни, по-своему перекроила и этот важнейший момент в жизни нации, катализировала процесс, революционизировала его, перевела из стадии эволюции в стадию катаклизма.

Показателем того, как далеко зашло формирование сверхнации в предреволюционной России, является та легкость, с какой масса во время революции отказалась от русской традиции и обычая, от церкви и от социального устройства, восприняв как будто и завезенную из Европы идею интернационализма. Идея эта вовсе не была внешней, как теперь полагают многие, она отражала нечто, уже происшедшее в самом фундаменте русского сознания, которое в эпохи исторических катаклизмов всегда отступало в сферу самообороны, самовыделения, ухода в сбережение традиции, веры, уклада. А тут – все наоборот. Как будто чувство самосохранения покинуло русскую нацию.

Безжалостная ломка всего (о безжалостности ее пришлось потом много пожалеть) была русским диким способом первого самоощущения себя сверхнацией.

Тут уже рухнули все эволюционные, все органические формы. В частности, и органическое вживание еврейского элемента в сферу русской интеллигенции. Через разломанную черту оседлости хлынули многочисленные жители украинско-белорусского местечка, прошедшие только начальную ступень ассимиляции и приобщения к идее сверхнации, непереваренные, с чуть усвоенными идеями, с путаницей в мозгах, с национальной привычкой к догматизму, со страстным желанием, чтобы название процесса, взятое наспех, соответствовало сути дела.

Это была вторая волна зачинателей русского еврейства, социально гораздо более разнородная, с гораздо большими претензиями, с гораздо меньшими понятиями.

Непереваренный этот элемент стал значительной частью населения русского города, обострив, осложнив сам процесс вживания, не усвоив его великого всемирно-исторического смысла.

Тут были и еврейские интеллигенты или тот материал, из которого вырабатывались интеллигенты, и многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, поднятых волной, одуренных властью.

Еврейские интеллигенты шли в Россию с понятием об обязанностях перед культурой. Функционеры шли с ощущением прав, с требованием прав, реванша. Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали.

Трудно сейчас народному сознанию отделить тех от других. Тем более, что за полстолетия произошло переваривание, вхождение в организм и этого чуждого начала, рождение от него новых поколений, смешение и прочее. И даже чувство исторической вины, если не у самих «комиссаров» и «чекистов», то у их детей и внуков, решающих искупить грехи отцов поспешным вхождением в церковь, о чем уже немного сказано.

Поколение еврейских интеллигентов, пришедших в Россию из черты оседлости, не имело времени подготовиться к тому, чтобы стать органической частью имперской интеллигенции. Времени на это не было им отпущено. И они обретали это сознание на ходу, в ходе жизни. И навсегда, как и мой отец, остались людьми двойного сознания, как бы некоторым ни хотелось скрыть это от себя или от других.

У отцовского поколения не было чувства обреченности стать частью русской культуры и русской сверхнации. Они были из промежуточного пространства между Россией и Восточной Европой. У них если и была потребность вырваться из затхлости черты оседлости, то не обязательно на простор России, а куда угодно – в Австрию, Америку, Германию, Южную Африку.

Отец начал свое высшее образование в австрийском Кракове. Потом он учился в лифляндском Юрьеве.

Семья его – мать, два брата и две сестры оказались гражданами Польши. Мои родственники жили в послереволюционной Литве, в Германии, во Франции и в Америке.

Лишь революция направила осколки взорвавшейся и распавшейся черты оседлости в сторону России. И именно тогда началось вживание этих осколков в тело имперской нации. И осознание еврейского элемента частью этой нации.

Мой отец, как уже было сказано, был человеком двойного сознания. Но он, в отличие от очень многих, не желал отбросить ни одной части своей двойственности. И понимал подспудно, что процесс вживания труден и связан не только в уравнивании в правах, но и в ощущении исторического права, которое рождается поколениями, которое результат реального вклада в жизнь нации. Большинство «комиссарской» части пришло в Россию еврейства началось с прав. Отец начинал с обязанностей.

Поэтому он никогда не испытывал чувства национальной ущемленности, не страдал от так называемой дискриминации.

Дискриминация – черта несложности, незаконченности процесса. Она черта некультурной истории, невозвысившегося сознания.

Органическое ощущение себя внутри исторической эволюции отодвигает всякую обиду на дискриминацию. Попробуй обижаться на исторический процесс! Достаточно его понимать.

Отец наделен был этим чувством справедливости исторического процесса, вероятно, не понимая его сверхзадачи, зато прекрасно ощущая его конкретику.

У него не было обиды на русскую нацию за непринятие. Скорее, раздражение на тех, кто этого принятия слишком настойчиво добивался. Он всегда удивлялся, когда его еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей-министр или военачальник казались ему явлением скорей неестественным, чем естественным. Могло показаться, что он вообще не любит карьеристов. А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве править должны русские. Что это естественно и претендовать на это не стоит.

Он считал своей обязанностью делать дело честно и самоотверженно и в нем соединяться с честной и самоотверженной частью русского общества – с интеллигенцией его призыва.

В его сознании, где было три основных данности, профессия врача была четвертой. Он так же не обречен был стать врачом, как и стать русским евреем. Но, силою обстоятельств повернутый на эту стезю, он принял как данность все нравственные обязательства, связанные с этой профессией.

Утверждение, что Гитлер уничтожил русских евреев, не совсем точно. Он уничтожил черту оседлости, то есть нацию, как Сталин уничтожал или пытался уничтожить крымских татар (а где крымские болгары, караимы и прочие?) или поволжских немцев.

Русских евреев он уничтожил не в большей степени, чем другие сорта русской нации. Статистики нет. Но если русские евреи погибали даже в большей пропорции на фронте, то получается полмиллиона. Пятая часть. А белорусов четвертая.

Об этих бы потерях писать да писать, вспоминать да вспоминать. Но не в этой памяти главная магистраль нашего времени. Когда-нибудь вспомним и об этом. Но не о том сейчас речь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.